



Аюгмидд Саницкая



**ОСТРОВ  
ОТКРЫТОЙ КНИСКИ  
(ПЕРЕДЕЕКИНО)**

Москва  
Вест-Консалтинг  
2018

УДК 82  
ББК 84(2Рос=Рус)  
С 183

**Саницкая Л.**

**С 183** Остров Открытой книги (Переделкино). —  
М.: Вест-Консалтинг, 2018 — 140 с., илл.

**ISBN 978-5-91865-478-1**

«Остров Открытой книги (Переделкино)» — второе прозаическое произведение Людмилы Саницкой. Ранее вышли шесть сборников лирических стихов и книга мемуарной прозы «Вверх по ручью». В жизни автора, наряду с основной её профессией (врач, кандидат медицинских наук), всегда была литература. Она была даже не рядом, а внутри. Отсюда эмоциональное, пристрастное отношение к поэзии и присутствие поэтической строки в ткани «Острова» (в книгу включены стихи автора из цикла «Переделкино»). Дом творчества писателей в Переделкине был важным этапом на литературном пути Л. Саницкой, и судьба этого уникального писательского оазиса не могла не сказаться на её творчестве.

Эта книга — добрый доверительный рассказ о самом Доме и о людях, причастных к нему — друзьях, знакомых, собеседниках — тех, с кем довелось встретиться на аллеях переделкинского парка. Воздавая должное легендарному прошлому писательского Переделкина, автор с грустью и тревогой пишет о его дне сегодняшнем, когда двери Дома закрылись, но и внушает надежду на возрождение Острова Открытой книги.

Описанные в книге события касаются 2005–2016 гг. Все фотографии принадлежат автору.

© Саницкая Л., 2018  
© Вест-Консалтинг, оформление, 2018

## От автора

Вашему вниманию, читатель, предлагается повесть-дневник, где автор собрал свои многолетние впечатления о Доме творчества писателей «Переделкино». На этих страницах нет ни исторических, ни литературоведческих исследований — лишь попытка войти в легендарный заповедник советской литературы и передать ощущение времени, словно сгустившего здесь энергию творчества и вдохновения. И обрисовать эти деревья и строения, которые давно уже не столько деревья и строения, сколько пейзаж мифологический, грозящий вот-вот исчезнуть. Вспомнить, чтобы в какой-то мере оставить вот так — в строчках и фотографиях — удивительный феномен литературной жизни страны — Переделкино.



*Шапка*

Переделкино было затянуто дождём. Мелкий, лёгкий, он был похож на второй театральный занавес. Когда раздвигался первый — огромный, красно-бархатный и золотой — за ним иногда возникал второй — светлый, полупрозрачный, казавшийся невесомым. А за его туманной преградой угадывался сказочный театральный мир — силуэты зданий, деревьев, людей. Авансцена же в это время будто заполнялась предвкушением, ожиданием, ароматом тайны. Когда второй занавес бесшумно уходил вверх, театральная сказка оживала и возникала особая театральная жизнь, полная яркой и недолговечной магии...

Переделкинский дождь напоминал второй занавес, но уходить не спешил. Мелкий, уже холодный — начало осени, он был упрямым и занудой и методично наливал огромные лужи в каждую неровность старого потрескавшегося асфальта и выщербленной плитки. Лужи росли, разливались, покрывались рябью от падающих капель и грозили превратиться в потоп местного значения.

Но всё это было совершенно неважно, потому что, кутаясь в кисею дождя, здесь жил и дышал переделкинский парк. Парк? Неухоженный, неприбранный... Скорее такой небольшой островок, клочок земли, на котором плотно сгрудились деревья разных поколений — и совсем старые, многие из которых



засыхают уже, и молодой неуверенный подлесок, и кусты и кустики... Да, маленький остров, полулюбимый в последнее время.

От собственно писательского дачного городка «Переделкино» он отделён невысокой кирпичной оградой, на воротах скромная табличка — «Дом творчества писателей». Дом!

Конечно, Дом! И парк! И всё вместе — остров. Остров Творчества.

Пафосное звучание этих слов кажется нелепым, почти смешным. Сегодня, когда единственная ценность этой частицы ближнего Подмосковья — земля, драгоценная, как Эльдorado, золотая, возделенная земля — кому нужны старые корпуса, хоть совсем обветшавший Старый, хоть уже давно не новый Новый! Снести их и построить что-нибудь современное — отель там или коттеджный посёлок, чтобы пять звёзд и цены, как на Ибнице!

Но ещё лет десять назад или чуть больше вот так же сыпал мелкий дождь, был тёплый август, и Дом был сдержанно приветлив к тем, кто входил в его владения, и немного снисходителен к новичкам, и заботлив к старожилам. Он был ещё не так стар и заброшен, и казалось, что вот здесь, в его зелёной чаще, и обитают те самые музы. Где же ещё?!

Деревья, примите меня в свою стаю!  
Деревья, во сне я ведь тоже летаю.  
Как вы, отрываясь с листвой от земли,  
В которую всем существом проросли.

Деревья, у вас терпеливые души.  
Внимать вам и шелест, как музыку, слушать,  
К шершавой коре прижимаясь щекой,  
Вдохнуть вашу мудрость, печаль и покой.

Деревья, сомкните шумящие кроны,  
Укройте всех нас, неразумных, зелёных,  
Пока ещё к вашим корням не ушли.  
Пока есть деревья у нашей земли...

Очень высокие, очень старые сосны вздымались вверх, смыкались, почти касаясь друг друга вершинами, оставляя между ними ослепительной голубизны окошки — небо. Внизу бежали узкие дорожки, вымощенные плиткой, расчерчивали траву на неровные лохматые участки. Сквозь плиточные трещины пробивалась нехитрая травяная поросль. Парковые скамейки, тоже зелёные, облупившиеся, разбросанные без особого порядка, в центре парка, будто опомнившись, становились в круг, и сам этот круг был выложен узкой полосой асфальта. Здесь собирались жители Дома, писатели, обсуждали литературные и окололитературные проблемы, спорили — жили своей особенной переделкинской жизнью.

В большой беседке, дощатой, серо-зелёной, изрядно состарившейся, часто можно было рассмотреть одинокие фигуры за столиком в её глубине. С тетрадкой, книгой. Изредка слышалась гитара, смех, песни. Пишущие люди. А мощные сосны-великаны и старые берёзы, почти с них ростом, и дубы, живущие здесь, наверное, сотню лет, принимали и понимали их, и помогали, подсказывали что-то, что потом становилось стихами или романами.

Зелёный цвет здесь был цветом лесной королевской мантии. Он был щедрым, могучим и разным. Голубовато-серебристым отливом мерцали пихты и ели, тёмно-зелёным бархатом — дубы, лиловатый, струящийся на землю поток — ветла. Сотни оттенков — яблони, сирень, боярышник, неизвестные кусты и кустики внизу, в подлеске, а выше — царство гигантов. Корабельные сосны, древние дубы и берёзы, тоже громадные и старые, с потемневшей корою, с нежной светлой зеленью вершин.

Когда движеньем колеса  
Фортуна выдала удачу,  
На переделкинские дачи  
Взор обратили небеса.

И проявился старый дом  
С открытой книгой на фронтоне,  
И побелённые колонны,  
И тень ракиты над прудом.

Здесь вековые деревья  
Слились в зелёные чертоги,  
Богини мудрые и боги  
Творили вечные слова.

Неделя минула, как час.  
Светило близилось к закату.  
Исчезла юная Эрато...  
Был август.  
День шестой.  
Парнас.

У входа в Старый корпус утром можно было поздороваться с маньчжурским орехом. Диковинное дерево, посаженное бог весть когда, разрослось, дотянулось вершиной до крыши дома, а нижние крепкие длинные ветви раскинулись широко и вольно, почти касаясь земли. Листва — густая, плотная, каждый листок как упругое зелёное перо — перемежается пучками плодов. Орехи небольшие, тёмной зелени, но их множество, до них легко дотянуться, и кажется, что они словно предлагают дому свою лесную силу.

Этим летом орех стал неузнаваем. Парк давно уже вырубает, убирают старые деревья, отпиливают ненужные, с точки зрения хозяев, ветки, убирают кусты. Чистят... Вот и орех подстригли, подпилили, оставив на стволе крупные круглые следы исчезнувших ветвей. Дерево стало прямее, меньше и словно обеднело. И орехи стали мельче, их трудно различить в высоте, и само дерево будто отодвинулось от дома...

Мне, пришлой гостье, неумехе,  
Собравшей рифм минорных горсть,  
Внимало дерево ореха,  
Что тоже тут, пожалуй, гость.

Свидетель, слушатель, болельщик  
За всех, кто жил здесь и живёт, —  
Орех маньчжурский — перебежчик  
Из экзотических широт.

Поклонник малых и великих,  
Имён классических и дел,  
Чьи лица, а вернее — лики  
Хранитель-Дом запечатлел,

Орех всё ниже гнётся долу,  
Роня острые листы,  
Но вновь и вновь приносит Дому  
Плоды эдемской красоты.

Прогуливаясь по парковым аллеям, иногда натыкаешься на коттеджи — скромные деревянные строения, которые когда-то тоже служили приютом для приезжающих писателей.

Говорят, что во времена молодости Дома пребывание здесь для них было бесплатным. Или плата была символической. Приезжающие сюда сегодня такого помнить не могут, давно это было. Некоторые коттеджи нынче принадлежат частным лицам, калитки закрыты, людей не видно, но за окнами просматриваются какие-то предметы, игрушки. Похоже, что хозяева здесь всё же бывают. В других — служебные помещения.

Вдоль дорожек кое-где расставлены фонари. Простые белые стеклянные шары на металлических столбиках. Столбики утопают в неухоженной растительности. Фонари пытаются осветить местность, что не всегда удаётся. Стеклянные головы хрупки.

Фонарь — большое яблоко стекла —  
был набок сбит и криво нахлобучен.  
Ненастьем и вандалами измучен,  
он не сулил ни света, ни тепла.  
В подножии, меж стеблями травы,  
блестел янтарь — бутылка из-под пива,  
и заросли малины и крапивы  
вольготно жили под шатром листвы.  
Но летний вечер, пряный и густой,  
зажёл закат и к фонарю спустился —  
и тот вздохнул и тихо засветился,  
и поднял голову, любуясь красотой.

А по соседству сосны и дубы  
шумели над стеклянной головою.  
И чудилось — фонарные столбы  
к утру пойдут зелёною листвою.

Всегда как-то неожиданно на пути возникает пруд. То, что это пруд, понимаешь не сразу. Невысокая металлическая оградка, а за ней — ровная тёмно-зелёная гладь небольшого водоёма. У его кромки густо толпятся деревья, склоняются к нему, будто пытаются войти в это родное им болотце. Поверхность пруда усыпана листьями, веточками, они покачиваются на зелёной тине, такой плотной, что, кажется, она и человека выдержит. Остатки какого-то домика на берегу. Возможно, бывшая раздевалка. Наверное, раньше здесь купались, плавали на лодках...



Заросший, тинистый, тенистый,  
коричневый, как палый лист,  
пруд за ракитой серебристой  
давно забыл, что он был чист,  
что он с бульваром Чистопрудным  
знавался, будучи прудом,  
и отражал светло и чудно  
и парк, и облако, и Дом.  
Уходит в илистое ложе  
его стоячая вода  
и ждёт — а может быть... А может?..  
Но, Боже мой, когда? Когда?..

Сквозь густую вязь деревьев, в просвете между  
голубой полоской неба наверху и зелёным половодьем  
парка внизу — Старый корпус. Дом.



*Старый  
корпус*

Пройдёшь по узкой асфальтовой тропинке сквозь зелёное великолепие парка — и вот он, Дом! Первой видишь балюстраду. Ажурная, лёгкая кружевная подкова выступает перед белой колоннадой и словно смотрит снизу на фронто́н с открытой книгой, обнимает фасад, приближает к своему маленькому счастливому пространству, впускает в него всех обитателей, общается к духу Дома. Балюстрада Дома творчества. Траченная временем, с пятнами облетевшей побелки, она всё равно хороша, как старинное украшение. Символ Дома. Здесь встречаются, фотографируются, курят, беседуют.

За ней — колоннада, творение сталинского ампира. Шесть колонн, обрамляющих центральный вход. Коринфского стиля капители. Выше — фронто́н. Лепнина, барельеф — открытая книга. Трудноразличимые цифры: 1955. И балюстрада, и колонны опираются на широкое и невысокое, в две ступени, крыльцо-подиум, увенчанное двумя большими белыми шарами.

За ним — центральный вход. Портал храма творчества. Высокие тяжёлые двери открываются медленно и торжественно, затейливые бронзовые ручки тускло поблескивают, отшлифованные сотнями ладоней.

Внутри тихо, сумрачно. Небольшой вестибюль выдержан в том же стиле державной значительности — лепные кессоны высокого потолка,



бронзовая люстра, справа напольные часы тёмного старого дерева, зеркало. Слева — то, что теперь называется ресепшн, место дежурного. Это уже более позднее вкрапление — деревянная загородка с табличкой «Охрана».

Есть в вестибюле маленькая телефонная кабинка, давным-давно не действующая. Сейчас, в эру мобильных телефонов, она вызывает недоумение у молодых и задумчивую улыбку у тех, кто помнит её предназначение. Тогда, в пятидесятые, да и много позже городской телефон был единственным средством связи, далеко не всем доступным, престижным. О нём мечтали, за ним стояли в очередь, радовались, когда получали вожделенный номер, даже если он был «спаренным», совмещённым. Спаренный телефон! Кто сейчас скажет, что это такое?

А это когда один номер на две квартиры, и надо условиться с соседом, кто когда может позвонить и как сделать так, чтобы твои звонки не прослушались этим самым соседом. А потом, когда, наконец, появлялась возможность выбить отдельный номер и «распариться», разъединиться, сколько было радости и гордости! Маленькое счастье советского быта...

А в этой кабинке Дома стоял не просто телефон, а московский городской. Если учесть, что Дом находится в Подмоскowie и звонок в столицу — дело весьма сложное, то здесь была прямая связь с Москвой, специально для писателей, бесплатно! Тоже из разряда маленького счастья советского Литфонда.

Радиаторы центрального отопления, размещённые везде, где надо было обогреть Дом, закрыты

экранами художественного литья, тоже красивыми и солидными. Сегодня обзор вестибюля затруднён, экраны заставлены старой мебелью и стойкой охраны.

Прямо напротив входа — лестница на второй этаж. Парадная лестница. Главный архитектурный акцент Дома. Два марша под углом. Кремовый, почти белый мрамор. Такие же беломраморные, с легким узором, стены. Красно-коричневый ковёр на ступенях. На полукруглой площадке между маршами три двойных окна — высокие, прямоугольные, уходящие к потолку второго этажа, и ниже, на уровне глаз посетителя — маленькие полусферы. Большие задрапированы светлыми шторами. Под ними, по периметру площадки, полукругом — три экрана при радиаторах. Здесь их можно рассмотреть как следует. Рисунок литья классический — чёрная металлическая решётка и золотые лучи стилизованного солнца в центре.

Лестница ведёт в вестибюль второго этажа, тоже довольно помпезный. Колонны коричневого мрамора стоят как-то очень основательно, устойчиво, упираясь лепным навершием в кессонный потолок, скромные пилястры вписаны в стены того же светлого мрамора, бронзовая люстра на цепях подчёркивает композицию в центре и ведёт взгляд к арочному проёму — выходу на большую открытую веранду. Перила веранды — всё то же чугунное литьё — простые, чуть украшенные скупым узором. Но вид отсюда — такая мощная, торжественная зелёная гамма парка, она словно заливает веранду музыкой солнца, воздуха, ароматом лета.

Здесь в летние вечера собирались обитатели Дома на писательские посиделки. Сюда по этому случаю притаскивались старые стулья и кресла, из ресторана приносили фрукты. Ещё совсем недавно здесь можно было услышать патриархов литературы — Константина Ваншенкина, Василия Субботина, Евгения Войскунского, Кирилла Ковальджи. Им внимали писатели следующих поколений, здесь звучали стихи и песни, обсуждались проблемы и слухи — писательская жизнь. Теперь немногочисленные писатели собираются в номере Нового корпуса, более пригодного для жилья, потому что в Старом уже поселяются только рабочие, в основном приезжие. На перилах веранды работяги сушат джинсы и рубашки, выходят покурить...

Один из них, оказавшийся охранником Валерой «з Украины», долго наблюдал за тем, как я брожу по Старому дому с телефоном, фотографируя всё и вся, наконец, подошёл, спросил:

— Неужели ж вот такую красоту сломают?!

— Кто знает... Конечно, легче снести и построить новое, чем ремонтировать. Да здесь же не ремонтировать, здесь реставрировать надо, а это куда дороже!

— Та не... Не може быть! Штоб такое сломать! Это ж... Это ж такая красота... Мы ж стараемся тоже. Где подкрасим, где починим... А люстра какая, а?! Давайте я вам её включу, лучше видно всё будет. А вот смотрите, вот комната, там пока не живёт никто, чисто, хорошо.

А лестница — чистый же мрамор! Не, не може быть, штоб сломали!

Несколько лет назад, когда, видимо, потребовалось дополнительное помещение для киносъёмок, в вестибюле второго этажа воздвигли некую будку, приткнувшуюся вплотную к левой колонне, а чуть левее — деревянное крылечко, ведущее в эту самую кинобудку.

Кино в Доме снимали довольно часто. Обычно это были фильмы исторические или нужен был интерьер в стиле ретро. Появлялись автобусы и автомобили с кинотехникой, по газонам струились многочисленные провода, светились прожекторы, было шумно, безалаберно... Кино!.. Жители Дома с опаской обходили змеи проводов, сворачивали на обочину, искали безопасный путь в столовую или библиотеку. При этом иногда можно было увидеть знакомых актёров и полюбопытствовать у тех, кто наблюдал за кинопроцессом, что снимается. Кинобудка считалась временной, да так и осталась. Всегда пустая, заброшенная, она кажется нелепой и неприкаянной, так же, как и старые разномастные кресла, разбросанные возле стен.

Из пространства вестибюлей, как кровеносные сосуды, ответвляются направо и налево коридоры. Коридоры длинные, узкие — шириной в ковровую дорожку, с множеством невысоких дверок, за которыми — комнаты писателей.

Уединённый приют творческих душ, крошечные кельи затворников вдохновения. Эта возможность уединения, тишины и красоты и была главным подарком

писателю от всемогущего тогда Литфонда. Это сейчас, когда Литфонд ушёл в историю, эти миниатюрные помещения кажутся слишком скромными, а если учесть старую мебель и потёртые коврики — почти убогими. Узкий маленький пенал с одним небольшим — в одну створку — окошком, столик, кровать или диван, стул, кресло и раковина-умывальник в углу у двери. Скромно? Душ и туалет в конце коридора. Более чем скромно! Но это сейчас. А тогда! Совершенно отдельная комната — это при том, что дома может быть и коммуналка или квартира с семейством и массой житейских обязанностей. Высокие потолки, отороченные лепниной. Бронзовая люстра. Письменный стол. Окно прямо в зелёную красоту парка. Тишина. Ну, разве не рай для пишущего человека? Рай и есть. И на стол воздвигается пишущая машинка, и остаётся только чуть подождать — и вдохновение влетит в эту прекрасную келью и продиктует нужные слова...

Всё тот же Дом, пленяя и маня  
наивностью и ветхостью ампирной,  
всегда не замечающий меня  
в задумчивом молчании надмирном,

Он так же светит сквозь узор листвы  
молочной белизною колоннады.  
А мне довольно гроз, дождя, травы,  
чтоб стать своей в запущенности сада

и поспешить захлопнуть ноутбук  
и в путь пуститься по сырой тропинке...  
А ночью слушать отдалённый стук  
старинной, верной пишущей машинки.\*

В левом коридоре первого этажа две кельи заняты медициной и прессой. На одной из дверей написано «Медпункт», на другой — «Почта». Если двери медпункта открыты, можно увидеть хозяйку — доктора. Немолодой, высокий, худощавый, с небольшой бородкой, в мятом халате, он словно появился из чеховских рассказов. Юрий Михайлович Спиридонов. Всегда серьёзный, спокойный, готовый помочь. Давление, боли в суставах, скорую вызвать, если надо... Такая земская медицина в масштабах старого Дома.

Иногда в Дом приезжали вместе с домашними питомцами — котами или небольшими собаками. С одним котом я была знакома. Это был великолепный серебристо-серый британец, который возлежал на широком подоконнике открытого окна и наблюдал за окружающей его суетой со снисходительностью титулованного хозяина.

Стены узких коридоров — своеобразная историческая фотогалерея. Длинной лентой, справа и слева, на первом и на втором этаже, начинаясь от пространства вестибюлей и уходя в полутёмную глубину — лица тех, кто жил здесь, писал, был знаменит и признан, а нынче ушёл в историю, оставив

\* Существует легенда, что в старом корпусе Дома творчества ночью работают жившие раньше здесь писатели.

память и книги. Фотографии старые, чёрно-белые, тусклые, довольно потрёпанные, без рамок. Подписи с указанием титулов и наград. А лица в большинстве молодые, весёлые. Красивые. Весь цвет советской литературы.

Ветшает наш писательский приют.  
И ниже прежней кажется ограда...  
Но сосны здесь до неба достают,  
И так же бел рисунок балюстрады.  
В пространстве своего полукольца  
Она, как прежде, выслушать готова  
И откровения титана и творца,  
И строки малые отеческого слова.  
Ветшает Дом, но всё светло крыльцо,  
И так же он отогревает сердце,  
Как навсегда любимое лицо,  
В которое глядеть — не наглядеться.



К ампириному Старому корпусу Дома творчества слева пристроен вполне современный ресторан. Это по сравнению со Старым корпусом он современный, архитектура иная. А по сути он тоже немолод. Мраморная табличка на стене сообщает: «Сооружено 1966–1969 гг. по проекту авторской группы под руководством архитектора Я. Н. Гузмана силами треста «Мосэлектротягстрой» под руководством заслуженного строителя Р. С. Ф. С. Р. К. П. Галахова при участии директора Дома творчества В. Т. Оганесяна». Тяжеловесный текст памятной таблички контрастирует с духом сооружения. Архитектору Я. Н. Гузману удалось создать не просто пристройку к основному зданию с функцией пищеблока, а нечто лёгкое, воздушное и по-своему изысканное. Особенно хороша ажурная винтовая лестница, которая поднимается из парка лёгкой белой спиралью и ведёт наверх, на такую же белую открытую веранду и дальше, в нарядную глубину ресторанный зала. Много стекла, воздуха, ощущение праздника.

Поначалу это был просто ресторан, расположенный на втором этаже пристройки. Здесь же, на втором, разместилась библиотека, а на первом — столовая и бильярд. В застеклённом переходе к старому корпусу — столы для пинг-понга, цветы в кадках, диваны...



Говорят, в старые советские времена всё это великолепие принадлежало писателям. Потом ресторан попал в частные руки, стал безумно дорогим, и писатели там больше не появлялись. Лет десять назад рестораном владел сын известной киноактрисы Инны Чуриковой. Тогда ресторан назывался «Дети солнца». В дальнейшем он перешёл в другие руки, а название сократилось до короткого: «Солнце».

Ресторан живёт своей отдельной жизнью. Часто по вечерам он, украшенный иллюминацией, цветами и воздушными шарами, принимает вереницы автомобилей, гремит музыкой и совершенно не обращает внимания на творческое население Дома. Здесь проводятся свадьбы, дни рождения, юбилеи и прочие мероприятия для именитых и состоятельных гостей.

Ещё не так давно в такие вечера через писательскую столовую часто пробегали с подносами молодые официанты яркой южной наружности с разными яствами, потому что кухня для столовой и ресторана была общей. Вход тоже был общим — стеклянные двери открывались в вестибюль с большими зеркалами и бильярдным столом. Налево по лестнице — ресторан, прямо — столовая. Но потом кухни разделились, а прошлым летом ресторан и вовсе отгородился от столовой стеной, и сплошной стеклянный вход приобрёл две двери. Коммерческая часть Дома творчества окончательно изолировалась.

Правда, ещё сравнительно недавно, в нынешнем уже веке, в ресторане иногда проводились литературные вечера. Читались стихи, произносились речи... Герои события располагались на подиуме,

за небольшим столом, а слушатели и гости — за несколькими столиками аванзала. На столиках вино и фрукты. В это время в ресторане, как правило, не было посетителей, и можно было представить себе, что ресторанное великолепие, как прежде, есть деталь писательского быта, а не спонсорский жест владельца. Но это уже история. Сейчас на территорию ресторана писатели проникают только в короткие дневные часы, когда работает библиотека.

Библиотека жива, хотя её жизненный ритм замедлен, она стареет вместе с Домом, длинные её стеллажи с плотным книжным населением словно тускнеют. Новые книги появляются лишь тогда, когда кто-нибудь из приехавших писателей по традиции приносит сюда свою новую книгу и любовно пристраивает её на полки справа от входа. Здесь, на этих полках его книга будет жить какой-то небольшой срок, потом переместится на задний план, а потом и вовсе уйдёт в глубину стеллажей. Экспозиция всё время меняется, но каждый из тех, кто привёз в Дом свое детище, обязательно сделает красивую дарственную надпись и поднимется сюда, на второй этаж ресторана, где за плотной портьерой прячется дверь библиотеки.

Столовая, занимающая первый этаж пристройки Старого корпуса, не удивляет декором, это просто большой светлый зал, разделённый квадратными колоннами. Стихийно в зале образовывались некие зоны, которые формировались по интересам. Если раньше, когда Дом был действительно домом писателей, она была заполнена именно ими, писателями, то потом состав столовой стал меняться.



Сначала появились лётчики. Они занимали левую половину зала и никогда не смешивались с правой, где располагалось творческое население. Контраст был разителен. Слева — молодые добры-молодцы с вкраплениями красных девиц-стюардесс, справа — разношёрстная публика, седины и лысины — малоимущая интеллигенция.

Почему лётчики? Потому что в ту пору, лет десять назад, да и теперь тоже, фактическим хозяином Дома был литератор из Якутии, никому не известный как писатель, но обладающий большим коммерческим талантом. Лётчики служили в «Якутских авиалиниях», и экипажи этой компании останавливались между рейсами отдохнуть в Доме. Они оплачивали свой отдых по полному тарифу, что было хорошо, потому что писатели платили значительно меньше, со скидкой. В дальнейшем компания, кажется, построила собственный дом отдыха, лётчики исчезли и появились рабочие.

С годами писателей становится всё меньше. Они по-прежнему занимают столы справа, собираясь небольшими устоявшимися группами. Меню стало беднее, исчезла система заказов, неизменными остались только блюдечки с лимонами к чаю или кофе и строй салатов рядом с ними. Уже можно услышать слово «пансионат», прозвучавшее из уст писателя, за-всегдагая Дома. В интернете можно встретить словосочетание «Отель «Переделкино». Это звучит странно, но, если вдуматься, то в современной рыночной системе отдыха Дом и в самом деле скорее пансионат. Причём, не более трёх звёзд. Одряхлевший, никогда

не отремонтированный, с заброшенным парком... А то, что здесь атмосфера творчества, тени великих предков — это лирика, чуждая прагматичному веку. Сегодня сюда приезжают лишь испытанные, преданные Дому литераторы, которым здесь, несмотря ни на что, прекрасно пишется.

Небесное око сквозь кроны  
деревьев, рванувшихся ввысь.  
Клочок заповедной, зелёной  
земли, где дороги сплелись  
Эрато, Эвтерпы и Клио,  
и тех, кому внятна их речь...  
Я здесь была слишком счастливой,  
чтоб их откровенья сберечь.

Зимой, в городской круговерти  
вернёт многоумный смартфон  
минуты любви и бессмертья,  
и счастья у белых колонн.



*Словни  
копнѹс*

Корпус, который до сих пор называется Новым, был построен, думается, в восьмидесятые годы прошлого века, спустя лет тридцать после открытия Старого, но всё ещё держится в положении Нового, поскольку комфорта в нём куда больше, чем в ампирных красотах Старого.

Новый светится сквозь парковую листву краснокирпичной лентой с большим проёмом центрального входа. Если пройти от колоннады Старого дома по асфальтовой дорожке, мимо беседки, попадёшь прямо к его широкому крыльцу. На первом этаже, в полусумраке коридора, вошедшего встретит портрет Державина — Гавриил Романович расположился прямо напротив входа, а по сторонам от него на стене можно увидеть и других классиков, и пейзажи в рамах, и небольшие керамические панно во вкусе декора тех лет. В торцах коридора мерцают витражи — пронизанные светом цветные их узоры превращают казённое помещение в нечто таинственное, книжное, почти сказочное.

Присмотревшись, можно заметить небольшие телефонные кабинки. Когда-то можно было спуститься сюда и позвонить своим. Бесплатно. Сейчас в этих кабинках хранят старую мебель, какие-то ненужные вещи... В коридор впадает несколько лестниц, которые ведут наверх, в номера.



Первое впечатление не искущённого заграничными многозвёздными отелями постояльца — как хорошо! Большая комната, иногда даже с альковом, ванная, много шкафов, диваны, кресла, ковры и коврики, телевизор, холодильник, посуда... Разумеется, письменный стол, книжные полки. Всё для гостя-писателя! Для одного! Правда, вся мебель такого же возраста, как корпус, сантехника хоть и действующая, но требует постоянного присмотра, ковры потёртые, холодильник старосоветского производства... Но — две кровати на случай, если приедет кто из родных, современный большой телевизор, а порой даже электрический чайник...

Чего нет в номере, так это телефона. Раньше, говорят, был. Даже в Москву можно было позвонить. Кажется, через восьмёрку. Потом телефонный аппарат остался, но звонить можно было только по местным линиям — дежурному, например. Потом и эта необходимость отпала — у каждого есть мобильный телефон, связаться можно хоть с Москвой, хоть с Нью-Йорком...

Балконная дверь открывается не на балкон, нет — на огромную лоджию во всю длину номера. И — парк рядом, рукой подать. И свежий, зелёный лесной пейзаж почти врывается в жилое пространство. И по утрам, ступив сюда, тут же решаешь что-нибудь такое сделать!

Совершить! И как-то совершенно неожиданно — совершаешь. Что? Конечно, зарядку! Ну, почему в Москве таких желаний не бывает никогда?! Нехотя встаёшь, сонный и недовольный, а весь организм

протестует и зовёт обратно в постель. А здесь — пожалуйста, тот же самый организм с радостью пускается двигаться, разминаться и вообще, оказывается, ты вполне жив и счастлив!

А потом, спускаясь с крыльца, с головой окунаешься в душистость, яркость, чуть влажную свежесть парка. Иногда в небе появляется серебристая сигара самолёта — неподалёку аэропорт «Внуково».

В переделкинских мифах упоминается эпизод, с ним связанный. В давние советские времена, когда Дом начинал свою жизнь, шум взлетающих и приземляющихся самолётов так мешал писателям, так раздражал творческое население, что они пожаловались на Аэрофлот Главному человеку страны. И товарищ Сталин дал распоряжение изменить авиарейсы так, чтобы они обходили территорию Дома стороной. Какое-то время указание Главного соблюдалось, но потом о нём, конечно, забыли. Но сказание о том, как некогда государство заботилось о творческих работниках, сохранилось.

Шуршанье шёлковое шин  
Да самолетов гул тяжёлый...  
Но щебет ласточек весёлый,  
Но свет рубиновых рябин!..

Огромный город раскалён  
И, приближаясь, дышит в спину.  
Но иван-чая взор невинный,  
Но колокольцев тихий звон!..

Среди заоблачных громад,  
Теснящих старые погосты —  
Нетронутый зелёный остров,  
Не срубленный вишнёвый сад!..

Здесь утра свежи от росы,  
А вечера благоуханны...  
Здесь луг купается в туманах,  
И медлят речи и часы.

А после истечения дня  
Закаты розовы и алы...  
Истоки наши и начала,  
России тонкая струна.

Это — время первых встреч, волшебство знакомства  
и очарования. Потом, спустя десяток с небольшим лет:

А этим соснам жить и жить,  
и оставаться в высях горних,  
а мы — мы будем уходить  
негромко, медленно, покорно  
и, как падение листвы,  
безгневно и неотвратимо...  
Кем будете воспеты вы?  
Кем так болезненно любимы?

А небо сеяло дождём  
в канун начертанного часа  
и утешало старый Дом  
красою Яблочного Спаса.



*Встречи*

Вспоминая тех, кого я видела и знала в Переделкине, я словно смотрю в калейдоскоп, где мерцают, складываясь в созвездия, лица и имена известных и не очень известных или известных лишь в узком литературном кругу людей, каждый из которых стал частью той моей переделкинской жизни.

Во время первого знакомства с Домом, по пути к Новому корпусу, повстречалась скамейка с тремя, как я сразу поняла, здешними музами, которые оказались милыми и доброжелательными женщинами. Что не мешало им быть музами, потому что здесь, конечно, других и быть не может. Всплыла в памяти детская считалка: «На золотом крыльце сидели... Царь, царевич, король, королевич...» А что дальше? «Сапожник, портной, а ты кто такой?..» В самом деле — кто? Явно, не портной. Скорее всего, сапожник. Подмастерье. А тут — и впрямь Златое крыльцо. И обитатели Дома, которых довелось увидеть, услышать, поговорить — в большинстве своём именно цари-царевичи и короли-королевичи.



## Семён Сорин

А самая первая встреча с Домом творчества писателей в Переделкине была в семидесятых годах, и была она совсем мимолётной. Скорее, это была даже не встреча, а первый взгляд. Тот самый, что порой определяет судьбу.

Дом я увидела издали. По асфальтовой дорожке навстречу шёл высокий мужчина с чёрной повязкой на глазах. — Это Эдуард Асадов, — сказал мне мой спутник, раскланявшись со слепым поэтом. — Фронтовик, при взрыве ранило...

Асадов! Кто же не знает его лирики, такой проникновенной, простой, близкой. Вдалеке появился ещё один обитатель Дома — пожилой, грузный, сановитый, слегка прихрамывающий.

— Павел Нилин!.. Он сценарий для «Большой жизни» написал, кино такое было знаменитое, давно, до войны. А ещё «Жестокость», тоже роман знаменитый.

Конечно, мы и кино это видели, и роман читали, это же советская классика. А чуть дальше, на зелёном фоне парка сияла колоннада Дома — белая, недоступная, сказочная. Мой спутник отправился по своим писательским делам, а я долго ещё просматривала в воображении эти кадры первого знакомства с миром писателей.

Спутником моим тогда был Семён Григорьевич Сорин. Семён Григорьевич был к тому же первым встреченным мной живым писателем, что создавало вокруг него некий ореол моего недоверчивого

изумления. Между тем Семён Сорин был настоящим и весьма известным поэтом военной поры. Фронтовик, он прошёл Великую Отечественную с начала до конца, и это прозвучало и в творчестве его, и в жизни трагической нотой. Обострённая совесть, совершенно безмерная доброта, преданность в дружбе и незащищённость в быту. Высокий рост при болезненной худобе делал его длинным и будто колеблющимся, на библейском лице, прорезанном морщинами — тёмные грустные глаза и всегда чуть виноватая улыбка. Словно извинялся за то, что вот остался жить, а сколько ребят полегло на войне, да и жизнь сейчас тоже вся в ухабах, и без спиртного с ней ну никак...

Литературный институт закончил уже после войны, издавался нечасто, больше переводил, для заработка, но поэзия была для него действительно святым ремеслом, относился к ней трепетно и фамильярности не допускал. И слово «стишок» считал невозможным, тут же поправлял с нажимом — «стихотворение»! Потому что — труд, душевный серьёзный труд, а не забава.

Его нет уже шестнадцать лет, а мне до сих пор трудно представить его стариком, столько было в нём безбашенной увлечённой молодости.

В 2010 году, через десять лет после его ухода, родственники издали небольшую книжку его стихов и прозы. Там есть стихотворение, адресованное знакомой, видимо, женщине.

Говорят, выходишь за поэта?  
Не спеши, подумай, воздержись.  
Ох, несладкой — я-то знаю это —  
У тебя с поэтом будет жизнь.

О семье мечтаешь? О покое?  
Распорядке умном — от и до?  
А ему до лампочки такое  
Сверхблагополучное гнездо.

Всё-то его носит и заносит,  
Поутру вернётся, как хмельной.  
— Где ты был? — глаза устало спросят.  
— Не тревожься, с нею был, одной.

«С нею» — это с тою, что покуда  
Только-только в мыслях родилась,  
Но уже наметилась, как чудо,  
Самая возвышенная связь.

Образ этого талантливого, доброго, неизбывно грустного человека, раненного войной, навсегда остался в памяти и в строчках старого, начала восьмидесятых, моего стихотворения.

Стареющая колокольня —  
А всё тонка да высока.  
Так неожиданно и больно  
Войдёт щемящая строка.

Усталый взгляд печальной птицы  
Из неких отдалённых сфер  
И невозможность приземлиться  
В свой комфортабельный вольтер.  
Осенних сумерек невзрачность.  
Сквозные перья-облака.  
Высокой звонницы прозрачность  
И журавлиная тоска.

Семён Григорьевич написал предисловие к первому моему сборнику стихов, нашёл добрые, такие необходимые в то время слова. Небольшие его книжки стоят на любимой книжной полке.



## *Василий Субботин*

Первым же повстречавшемся мне в Доме творчества писателем был Василий Ефимович Субботин. В свои восемьдесят два-восемьдесят три года он выглядел как седоволосый усталый юноша, присевший на парковую скамейку отдохнуть и помечтать. Был он высоким, очень худым, бестелесным почти, с тихим голосом, мягкой речью. Голубоватая его седина, немногословность, живой взгляд светлых глубоко посаженных глаз, какое-то постоянное совершенно очевидное дружеское расположение к собеседнику — всё это создавало то взаимное притяжение, которое не зависит ни от возраста, ни от статуса. Достаточно нескольких слов — и возникает чувство тепла, доверия, сердечной близости... С трудом представляешь себе, что этот человек, пребывающий сейчас среди благостного осеннего пейзажа и сам похожий на полусказочный персонаж этой осени, что он прошёл всю войну, сначала в танке, потом во фронтовой газете, что у него боевые ордена и медали и что там, в окопах, он писал стихи... Что потом была писательская жизнь, книги, литературные награды, ответственная работа, многотомные собрания сочинений, признание.

Всё это — как бы за кадром, а здесь, рядом — тихий, очень добрый, очень красивый человек. Потом, позже, перечитывая его книжку, я узнавала и не узнавала его, такого, казалось бы, мирного, бесконечно деликатного, вполне гражданского человека. А он писал:

Я перекрёстным был крещён,  
Мне штыковая снится схватка.  
Мне чайльд-гарольдовым плащом  
Служила эта плащ-палатка.

Уже хлеба встают стеной  
В том самом поле, где кружил я,  
Но всё грохочут за спиной  
Той жёсткой плащ-палатки крылья.

Василий Ефимович ушёл из жизни 24 мая 2015 года, успев отпраздновать семьдесят лет Победы, за которую он воевал. Ему было девяносто четыре года.

## Дина Терещенко

Остался в памяти один из первых литературных вечеров в ресторане Дома.

Две тысячи пятый год, август. Безлюдный ресторан. Писательская публика расположилась за столиками. На подиуме — Дина Анатольевна Терещенко. Известная поэтесса. Одна из звёзд советской литературы. Те, кто постарше, при упоминании её имени останавливаются и восклицают почти благоговейно: — Боже мой, она же была такая красавица! Сказочная! Глаз не отвести! А какие имена рядом с ней! Константин Симонов, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков и много других, известных и не очень.

Действительно — красавица. Даже сейчас, в неполные девяносто лет. Небольшого роста, хрупкая, прямая, как струна. Лицо старой женщины, но точёные черты, высоко поднятая голова. Волосы, окрашенные в ровный золотистый цвет, уложены в причёску. Маникюр. Платье — длинное, чёрное. На плечах белый палантин. Искусно подобранные украшения. Разумеется, туфли на высоких каблуках. Красавица. Звезда.

А ведь эта красавица и звезда в юности строила Магнитку. Яростная комсомолка, она умчалась по призыву партии в самую горячую точку того времени — Магнитострой. То время — это были тридцатые суровые годы, страна создавала и разрушала, возникали города, металлургические комбинаты и — лагеря. Потом прокатилась по жизни каждого Великая Отечественная, унеся миллионы молодых,

сильных, лучших. На длинном пути Дины Терещенко было много потерь, труда, боли, лишений. Но всегда — Любовь.

Такого быть не может,  
чтоб женщина в моих летах —  
влюбилась...

Однако — это так!  
И посветлело небо,  
а март мне дарит  
тёплую улыбку,  
и молодость  
вернулась рано утром.  
Я ещё спала, но молодость  
скользнула незаметно  
в дверь мою и прошептала:  
«Проснись, я здесь. Я жду. Я не уйду,  
быть может — никогда.

В Переделкино Дина Анатольевна приезжала каждое лето и подолгу жила в своей «келье» Старого корпуса, появляясь в парке, столовой или ресторане всегда подтянутой, бодрой и одетой, как на приём.

Вот и в этот вечер она сидела за столом на подиуме, красивая и недоступная. И только тогда, когда начала читать свои стихи, стала моложе, мягче, ближе.

Я живу в катакомбах Любви,  
Я живу среди неверных друзей,  
но засвищут в свой срок соловьи  
в Переделкино...

В келье моей  
будет темень с души опадать,  
будут снова стихи волхвовать.  
Подожду до весны. Не впервой!  
Слово «жди» так и ходит за мной.  
Но... засвищут в свой срок соловьи  
даже здесь, в катакомбах Любви...

На подиум поднимались друзья-коллеги, тоже литераторы немалые. Светлана Соложенкина, Юлия Покровская, Александр Ревич, Вадим Рабинович, Эдуард Балашов, Наталья Арбузова, Дина Маркова... Читали её стихи, говорили добрые высокие слова...

В исповедальной книге Дины Терещенко «Пробуждение», изданной в 2001 году, есть такие строчки:

Меня сочиняли события, люди,  
Восторги, потери, смешки и хула.  
Меня убивали из древних орудий,  
А я оживала и снова жила.  
И снова живу. Пострашнее бывало!  
Остались кладбища. Потери. Цветы.  
А зло в меня целилось, не попадало.  
Ладони раскрою — столбы да кресты...  
А я ожила. Пострашнее бывало!  
Над злом возвышает меня Доброта!  
И мало мне жизни. И неба мне мало.  
И красок — для нового — мало — холста.

Дина Анатольевна в течение долгих лет вела известный литературный клуб Центрального дома литераторов «Московитянка», и я была свидетелем и участником этого необычного писательского сообщества — и в дни Дины Терещенко, и позже, когда Дину Анатольевну сменили её ученицы.

«Московитянка» возникла в начале девяностых, в бурное время постперестройки. Сама Дина Анатольевна так писала об этом в сборнике «Клуб московских писательниц», выпущенный в 97-м году: «...Рушились привычные нормы жизни и творчества. Закрывались издательства, рассыпались вёрстки уже набранных книг. Многие писатели ощутили тогда сквозняк неустройства, казалось, их книги уже никогда не выйдут, да и сами они — никому не нужны... Как протест против этой духовной разрухи, как своего рода противоядие от творческого одиночества и возник женский писательский клуб. Пусть на улице темно и неудобно, а здесь горит лампа, поёт самовар, как в добрые старые времена, писательницы читают свои стихи и рассказы. Идёт живое общение, обсуждение прочитанного, возникают какие-то планы на будущее... Разве возможно такое, чтобы будущего не было?»

И в самом деле, собирались за длинным столом в Малом зале ЦДЛ, и самовар стоял, и микрофон на длинном шнуре перемещался вдоль стола, и стихи звучали за дружеским чаепитием... Клуб встроился в писательскую среду города, стал частью его творческой жизни. У истоков клуба такие имена как Анастасия Цветаева, она была почётным членом клуба,

Лариса Васильева, Светлана Соложенкина, Ирина Волобуева, Татьяна Добрынина, Тамара Жирмунская, Вера Николаева, Нина Саницкая, Лариса Румарчук и многие другие.

С уходом Дины Анатольевны в 2008-м году климат клуба изменился, исчезли чаепития, обсуждения и тот дух единения, который превращал «москвитинок» в творческую семью. Клуб продолжает свою деятельность, но уже по-другому, возможно, более современно.

## *Кирилл Ковальджи*

Кирилл Владимирович Ковальджи... Он ушёл вслед за Евтушенко, и прощание было в Малом зале ЦДЛ, в том же апреле 2017-го. Большого скопления народа не было, но пришли все, кто знал его, любил, учился у него. Всякий раз, когда произносят это имя, чаще всего называя его просто Кирилл, я вижу его невысокую хрупкую фигуру, большой сократовский лоб, внимательные тёмные глаза и — голос. Мягкий, неспешный, с лёгким акцентом — не то румынским, не то бессарабским, ещё больше смягчающим его негромкую речь. — Вы, конечно, стихотворец, — говорил он какому-нибудь начинающему автору, студийцу, прочитавшему своё произведение в самозабвенном экстазе, — Да. Конечно... Но для поэзии нужна не только рифма. Сегодня часто и рифма не нужна. Но должен быть подтекст, мысль и чувство — то, что вызывает сопереживание...

Бесконечно деликатный, он не был суровым критиком и всегда находил то удачную строчку, то оригинальный образ. Радовался выходящим книжкам своих студийцев, охотно откликался на просьбу дать отзыв... С ним можно было посоветоваться. И эта доброта его, полное отсутствие снобизма маститого литератора создавали вокруг него некую ауру человеческого единения. Не по писательскому цеху — по душе.

На веранде Старого корпуса, где стараниями неизменной Натальи Ильиничны Арбузовой проходили наши обязательные посиделки («По вторникам и четвергам, после ужина, приходите непременно!»)

Кирилл Владимирович появлялся как-то незаметно, неслышно — вдруг оказывался сидящим в ветхом кресле, в сторонке, молча слушал, иногда читал что-нибудь своё или вспоминал эпизоды из давней, советской ещё, писательской жизни. И было впечатление входа в какое-то иное время, минувшее, но чем-то очень ценное и привлекательное. Был он немногословен, но в этой атмосфере погружения в другое время и пространство слова будто усиливались, утяжелялись, оставались в памяти.

Московские встречи — в Музее ли Серебряного века, в Пушкинской библиотеке или в ЦДЛ — он всегда оставался таким же спокойным, ровным, очень расположенным ко всем окружающим, с чуть смущённой улыбкой...

Дома, уже очевидно очень больной, похудевший, словно истаявший, в свой последний восемьдесят шестой день рождения, он всё же вставал, подписывал нам свои книги, светился мягкой своей улыбкой, говорил добрые слова.

Остались его книги — и большие, солидные, полные добротной прозы, и книжки стихов, где в его «Зёрнах», сборнике «краткостиший», заставляющих и улыбнуться, и задуматься, есть такие слова:

Поэзия — луч и листва,  
Проза — сруб из стволов...  
Поэзия — сами слова,  
А проза — при помощи слов.

## *Наталья Арбузова*

О том, что в начале нынешнего, 17-го, не стало ещё одной переделкинской души, Натальи Арбузовой, мы узнали в тот же печальный апрель.

Наталья Ильинична Арбузова, Наташа, как все её звали была в Доме старожилом, завсегдаем, хранителем традиций. Жила здесь подолгу, всё лето, оставляя и свою дачу в Купавне, и московскую квартиру. Высоко образованная, профессорского уровня учёная дама, она между тем очень далеко отстояла от сухости и организованности точных наук вообще и от своей высшей математики, которую всю жизнь преподавала, в частности. Совершенный гуманитарий по духу, с примесью какой-то богемной бесшабашности, взрывная и непредсказуемая, она писала такую же непредсказуемую, очень талантливую прозу, читала её на память, громко, модулируя короткие фразы, расхаживая по веранде, вбивая в слово каждый шаг, будто расставляя ударения. Как все мы, старела, болела, боролась с давлением и инсультами, но каждое лето приезжала в Переделкино и собирала нас на веранде Старого корпуса, а потом, когда Старый корпус стал лишь рабочим общежитием — в своём номере Нового. В наш последний август в Переделкине, в прошлом 2016-м году, она была тихой, похудевшей, и как-то очень определённо сказала во время последних наших посиделок у неё в номере, что больше сюда не приедет. Мы посчитали, что речь идёт о закрытии Дома. Но возможно, что был здесь и другой грустный смысл.



*Переделкины  
сегодня*

*Валерий Михайлов*

Валерий Михайлов — один из первых моих соседей по Дому. Высокий, большой, в ту пору ещё не совсем седой человек, было ему тогда всего за пятьдесят, суровый, молчаливый. Оказалось — поэт нежнейшего лиризма и крупный прозаик, отразивший историю казахского народа в своих больших и серьёзных книгах. Потомок русских спецпереселенцев, выживших после депортации тридцатых годов, он родился в Караганде, в Казахстане. И его безусловная русскость, с одной стороны, и безусловная же причастность к трагедии казахского народа, вместе с которым выживали его родные в дни тяжелейшего голода, не могли не сказаться на его творчестве. Его роман «Хроника великого джута» — об этом. Лишь одна эта книга, переведённая на множество языков, вошедшая в программу казахских школ, позволяет считать автора классиком литературы.

Но мне особенно близки его стихи. Не только строгость формы, точность образов. Ещё то, что не поддаётся определению, что созвучно чему-то своему, личному, потаённому, отчего появляется ком в горле. (Да, и мои предки были депортированы из Сибири. И тоже в Казахстан, где я родилась.)

Права Надежда Мирошниченко, поэтесса из Сыктывкара, известная со времён советских, когда



говорит о книге Валерия Михайлова «Пыльца», что «всё, что потом будет названо классикой, уже сегодня есть где-то рядом с нами. Просто мы привыкли думать, что классика — это то, что находится где-то там, за чертой нашей земной жизни. Но ведь рождалась-то она в жизни земной. И сегодня рождается.»

Он вспомнил степь, горячий лик небес,  
Клубки сухой травы, волну печали  
И вопль немой: «Зачем, зачем я здесь?» —  
Всё, что судьба дала ему вначале.

В тот миг душа, рыдая, поняла,  
Что родина, как миф, недостижима.  
Лишь речь родная сына приняла,  
Всё остальное прокатилось мимо.

«Земля чужая, я ль тебе чужой,  
Когда тебе впервые удивился.  
Земля родная, я ль тебе родной,  
Когда я на чужой земле родился.»

О, детства сон и невозвратный след,  
Тоска по родине, как кровь сырая.  
Полуседой, на твой пречистый свет  
Вернулся я. А вот зачем, не знаю.»

И во всей его лирике сквозит нота трагизма — идёт ли речь об ушедшей матери, потерянном любимом человеке или о родине. Валерий Михайлов —

патриот России в первоизданном, не опошленном значении этого слова.

России — нет? Россия вечно будет!  
В нас кровь её, а это не отнять.  
России в нашем сердце не убудет  
Ни на частицу духа, ни на пядь.

И ему, усталому, грустному, настоящему — веришь.

Ангел мой, ты от меня устал,  
На ветру моём хрипишь, простужен...  
Жизнь свою небрежно я листал,  
Промотал, что было, просвистал —  
И тебе лишь только нынче нужен.

Это стихотворение из бесспорной классики, его нельзя не заметить, не запомнить.

Хочешь, я тебе сейчас спою  
Песенку одну, совсем простую,  
Тихую, невидную такую —  
Ну, конечно же, про жизнь мою,  
Что прошла, конечно же, впустую.

Тут хочется сразу броситься в спор, в возражения, в уверения и т. д. Но — не надо, пусть будет за кадром. Ведь ясно же — это право поэта.



Ты ж подпой мне: баюшки-баю,  
Чтобы не ложился на краю —  
Я не лягу, я не протестую,  
Я уже бескрайнее пою.

Много лет Валерий Фёдорович был главным редактором литературного журнала «Простор», одного из признанных «толстых» советских журналов, его ещё многие помнят. Высокий художественный уровень авторов, пишущих на русском языке, живущих в Казахстане — и не только (мне тоже доводилось печататься в «Просторе», и это всегда было событием), актуальность тем — всё это позволяло держать журнал на высокой литературной планке.

Валерий Михайлов, большой поэт и прозаик, горький философ и лирик, и сейчас живёт и работает в Алма-Ате. Из «Простора» недавно ушёл. Журнал продолжает свою жизнь в интернете.

Нынешним летом Валерий Фёдорович приезжал в Переделкино, но Дом уже был закрыт и гостей не принимал.

*Валерию Михайлову*

Зазвучавший в казахских степях...  
Очи светлые — русича.  
То ли принявший схиму монах,  
То ль за родину мученик.

А перо — Иоанн Златоуст,  
Да не весела летопись.  
Разметалась славянская грусть  
Над степными рассветами.

Но покада Россия жива,  
Слову в Лету не канути.  
Прорастёт, как трава-мурава,  
В русском сердце и в памяти.

## *Сэда Вермишева*

Это имя хорошо знают и в России, и — что совершенно понятно — в Армении. Потому что Сэда Константиновна Вермишева — не просто поэт редкого замечательного таланта, она — общественный деятель, трибун, вызывающий к идеалам мира, добра и справедливости. Поэзии без социальной направленности, без отражения борьбы добра и зла она не признаёт. Пишет ярко, напористо, каждое стихотворение — акт трагедии или размышления о судьбах страны, народа — и русского, и армянского.

Армянка, она родилась в Тифлисе, училась в Ереване. В её родословной — княжеский род Аргутинских-Долгоруких. Прекрасно образованная, она с самого начала своей творческой деятельности уходит от интересов сугубо личных и говорит о проблемах людей, общества, осознавая огромную ответственность поэта за свою землю, своё время. Эта её гражданская активность, боль за все беды народные, пламенные стихи — делают Сэду Вермишеву незаурядной фигурой не только литературы, но и политики. У неё множество литературных наград, она известна в Армении, в Нагорном Карабахе и, конечно, в Москве.

Стихи её полны взрывной энергии, и пишет она их в своей, только ей присущей строгости. Вот так:

Два города,  
Две вечных  
Правоты...  
В моей душе  
Две огненные  
Вспышки, —

Монументальность,  
Разворот,  
Домишки —  
Мой Ереван...  
Стихии мощь —  
Москва...

Два притяженья...  
И душа меж ними  
Кружит,  
Как мотылек,  
Боясь  
Присесть...

Два города,  
Два имени,  
Над ними —  
Приподнимусь,  
Чтобы сказать —  
«Я есть!»

Сэда Вермишева — гражданка Армении, живущая подолгу в России, пишущая по-русски так, как иному русскому не под силу, переживает всю боль и муку

и русского, и армянского народа, и говорит, и кричит от этой боли. Вся её поэзия — обнажённый нерв, отзывающийся на события нашего беспокойного мира.

Когда нет сил  
Подняться  
Для полёта,  
Когда мне жить  
Почти  
Невмоготу,  
Крест-накрест  
Предо мной  
Все двери, все ворота, —  
Я говорю себе,  
Что я — пехота...  
А впереди лишь топи  
Да болота,  
Но я их всё-таки  
Когда-нибудь  
Пройду...

\*\*\*

Разбит наш дом.  
Он превратился в прах.  
Как мне срastить  
Обломки прежней жизни?  
Как отыскать на новых берегах  
Пути к потерянной  
Моей  
Большой  
Отчизне?

Как отыскать?  
На языке каком  
Окликнуть их,  
Кому назвать приметы?

И я иду по снегу босиком.  
Стоит зима.  
И косяком к нам — беды.  
Мы в измерении  
Теперь живём  
Другом.  
А в прошлое —  
Ни дрожек. Ни кареты...

Сэда Константиновна часто бывала в Переделкине. Будучи сотрудником посольства Армении, много работала как журналист, политический обозреватель. И писала стихи — эмоциональные, зовущие к мысли действию, к противостоянию злу и несправедливости. С годами дало о себе знать здоровье, она реже выходила из номера, не появлялась на писательских собраниях. Но продолжала работать.

Лишь в последние два года Сэда живёт в Армении, не приезжает в Москву. Да и приезжать, собственно, некуда. Переделкино закрыло свои двери, умолкло, затаилось и ждёт, что с ним будет.

Есть у Сэды Константиновны стихотворение, обращённое к внучке Маше. И столько в нём любви и тревоги, и надежды.

...Я буду жить у Вечности  
В столице,  
Но в час, когда  
Свиданья час  
Пробьёт, —  
Я к вам вернусь,  
Я возвращу сторицей  
Всё,  
Чем одарила жизнь  
Бессрочный мой  
Полёт...  
Притронусь я рукой  
К любимым  
Лицам —  
И шёлк волос твоих  
Мне сердце всколыхнет...  
Мне в Вечности, скажу,  
Без вас так плохо  
Спится...  
Пусть детства колыбель  
Любви крылом  
Качнёт...

Живёт в Ереване большой поэт Сэда Вермишева, горит её пассионарное сердце, и, может быть, всё же откроются высокие двери Дома творчества и Сэда прочитает новые стихи.

## Эдуард Балашов

Этот красивый задумчивый человек ко времени моего с ним знакомства уже был маститым поэтом, мэтром. Доцент кафедры творчества Литературного института, где он вёл семинар поэзии, редактор отдела поэзии «Советского писателя», председатель Литературного клуба имени Рериха...

Но все эти титулы я узнала позже, а в Переделкине был Балашов-философ, который говорил о вещах необычных, близких к эзотерическому восприятию мира. Он будто пребывал в вечности, где мелочи человеческих событий теряли смысл.

И книги его, которые выходили одна за другой, обращали сознание читателя к познанию мира, к самоанализу, к постижению истины. Поиск духовного смысла жизни — суть его стихов. И не стихов даже, а афоризмов, двустиший, четверостиший, всегда с серьёзным подтекстом. Его строки похожи на медитацию. Медитативность, созерцательность, внимание к деталям. Самобытная философия, аллегоричность, возвышенное слово.

Но эзотерика странным образом сочеталась в нём с каким-то глубоким оптимизмом. Я никогда не видела Эдуарда Владимировича расстроенным или подавленным, всегда при встрече возникала радостная улыбка и полная уверенность в том, что всё будет хорошо. Причём, не то, чтобы с ним или с собеседником всё будет хорошо, а вообще — с землёй, с планетой и, конечно, с Россией. Это было словно какое-то

глубинное знание, которое тут же передавалось слушателю. И тогда вспоминались его стихи:

Я слышу музыку весны,  
Стреляющие звуки почек.  
И листья пробуют на ощупь  
Шуршащий воздух тишины.  
Я слышу музыку дождя.  
В твоей руке трепещет зонтик.  
А дождь ещё не дождь, а дождик,  
И льнёт к тебе он, как дитя.  
Какая музыка — слова!  
На свете песен не убудет,  
Хоть шелестит о том, что будет,  
И прошлогодняя трава.

## *Анна Гедымин*

16 августа 2016-го в номере Натальи Ильиничны Арбузовой собрались немногие оставшиеся к тому времени переделкинцы — Аня Гедымин, Дина Маркова, сама хозяйка номера и я. Аня — миниатюрная хрупкая статуэтка, похожая на девочку-подростка, с детским голосом и взглядом оленёнка — читала свои стихи, наполненные таким творческим огнём, отлитые в такой отточенной форме, что их хотелось слушать и слушать.

Будто видела — помню об этом дне:  
Говорили: «Красные входят в город».  
Это предок мой на гнедом коне  
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.  
Победитель! Его не задушит лес,  
Не сломают ветра, не утопят реки...  
Но другой мой предок наперерез  
Выходил — остаться в бою навеки.  
Два врага погибли — и две строки  
Родословная вносит в свои скрижали.  
До сих пор сжимаю я кулаки,  
Вспомнив предков — чтоб руки не так дрожали.  
Я поповская правнучка и — княжна,  
На конюшне прапрадед мой был запорот...  
Так — о боже! — что чувствовать я должна,  
Если снится мне: красные входят в город?..

Её имя хорошо известно в литературном мире, она давно находится в когорте наставников, список

наград и премий очень внушитель, но стихи её звучат по-прежнему молодо, проникновенно и чисто. Как-то у меня сложилось стихотворение, обращённое к её творчеству.

Возможно потому, что ночь,  
ни звёзд, ни фонарей туманных,  
и сердцу некому помочь —  
он запропал, мой ангел странный.  
Должно быть, с книжицей, один —  
всегда он был библиоманом —  
где на обложке — Гедымин,  
и чуть повыше, нежно — Анна...

В этот вечер Аня сказала тихо и обречённо: —  
Что ж, видно, не будет Переделкина, закроют. Мне  
раньше всё казалось, что это невозможно, никак  
невозможно. А в этом году вдруг подумалось, что оно  
кончилось. Но жизнь-то продолжается, правда?

## *Дина Маркова*

Дина Маркова публикуется обычно под двойной фамилией Раздольская-Маркова. Публикуется мало и редко, но её стихи и афоризмы по-своему очень яркие и запоминающиеся. А судьба трагична, как у многих, родившихся накануне Великой Отечественной. Дине выпало страшное детство. Ей было два года, когда фашисты расстреляли еврейское гетто, расположенное на древней улице Минска — Немиге. Чудом выжившая, спасаясь из смертельного рва, Дина на всю жизнь сохранила память о войне как о величайшей трагедии, хотя говорила и писала об этом нечасто.

Теперь, приезжая в свой город родной,  
Немигу всегда обхожу стороной.  
Там ужас, как прежде, сжимает мне грудь,  
И слёзы вскипают, и трудно вздохнуть.

И через полвека сгибаются плечи  
При звуках немецкой отрывистой речи...  
И вот я опять собираю в ладошки  
Навек драгоценные хлебные крошки.

Три года — три круга смертельного ада.  
Давно бы изгнать их из памяти надо,  
Но кто же подскажет тогда молодым,  
Что вновь мы на краешке бездны стоим?..

Несмотря на трагическое начало своей жизни, Дина сохранила невероятное жизнелюбие, доброту и открытое, детское восприятие мира. И выражалось это не только в её поэзии, но и в том, как она пела. Её часто просили петь, и она пела — и романсы, и народные русские и — особенно впечатляюще — еврейские песни. В последнее время дыхание стало сбиваться, голос убавил силу, но всё равно — и сегодня поёт Дина радостно, темпераментно — раздольно. Носит необычайные, экстравагантные наряды и огромные шляпы, что смотрится очень гармонично и делает её похожей на какую-нибудь эстрадную диву. При всём при этом много работает. Работа у неё тоже необычная — дефектолог-логопед. Дети её обожают.

В этот августовский вечер Дина была единственной, кто не впал в тоску и не оплакивал Переделкино. Она не верила в то, что Дом закроют. Не может быть — и всё тут. Мы ещё встретимся здесь! И все мы почти поверили в это пророчество.

## Юлия Покровская

Юлию Покровскую многие знают ещё по девичьей её фамилии Сульповар. В литературе она давно, но как же мало её книг, как редко возникает её имя в литературной среде! В силу ли характера, лишённого амбиций, из-за жизненных ли ситуаций, но Покровская — очень закрытый для читающей публики поэт. Не прочитанный, как надо. Недооценённый. Говорят в основном об её переводах. Действительно, в последнее время она преимущественно переводит, и переводит великолепно — главным образом, с французского, но переводы эти в русском звучании всё же, как мне кажется, скорее её, авторские стихи. Музыкальные, звучные, совершенно замечательные, но как-то заставляющие забыть о том, иноземном авторе. Всё равно видишь её, Юлию Покровскую, с её удивительно изящной, умной стилистикой, отточенным мастерством и глубоким раздумьем.

В 2004 году в издательстве «Предлог» вышел сборник её лирики «Солнечное сплетение». Похоже, единственный достаточно полный, представляющий цельный образ автора. Потом были в основном переводы. Но этот сборник — с ним можно просто долго жить, листая, читая, думая, осмысливая не только короткие, редкие по глубине стихи, но и свою собственную жизнь. Помню, как пронзило меня стихотворение, посвящённое недавно ушедшим родителям.

По просеке Петровского бульвара  
и в памяти моей, рука в руке,  
красивая немолодая пара  
гуляет со щенком на поводке.

И тени от деревьев под ногами  
как брёвнышки, как эфемерный мост,  
между двумя оставленный мирами,  
пока не встало солнце в полный рост.

Как неразлучники, и там привычно вместе —  
в изнаночной потайной стороне,  
откуда не доносится известий,  
иначе чем в неосторожном сне.

По просеке Петровского бульвара  
навстречу мне, не торопясь, идёт  
и избегает встречи эта пара...  
Собачка рвётся, лает, узнаёт.

Критика говорит о ней тоже очень нечасто. Вот Сергей Мнацаканян упомянул в «Литературной газете» в 2014-м году, Владимир Мощенко написал большую аналитическую статью, высоко оценил талант и мастерство автора и вздохнул по поводу отсутствия пробивных её способностей. Но точнее всего была Татьяна Бек, которая в эссе о «Солнечном сплетении», опубликованном в «Ex Libris», отозвалась лаконично: вкус, интеллект и мудрость.

Да, стихи Юлии Покровской элитарны, они предполагают у читателя и высокую образованность,

и ум, и тонкое восприятие поэзии. Но у неё есть своя аудитория, есть понимающие её читатели.

В Переделкино Юлия Борисовна в последнее время не ездит, а раньше приезжала каждое лето, выступала там на литературных вечерах. Она была одной из трёх муз, встреченных мной тогда, в первый мой август в Доме творчества. И такой я вижу её до сих пор.



## Рада Полищук

Летом в Переделкине обычно появлялась целая творческая семья — Рада Полищук, её муж — Александр Ефимович Кирнос и сестра Виктория. Люди пишущие, рисующие и влюблённые в Переделкино как в источник вдохновения.

Рада Полищук, известный прозаик, пишет и издаёт книги, которые, я думаю, не раз ещё будут переиздаваться — в уже отдалённые от нас времена — везде, где сохранится историческая память библейского народа.

В школьном детстве и потом, в юности, я со слезами, со стеснённым сердцем читала маленькие скромные книжки о людях таких простых и близких, что они становились почти родными, переживала их трудности, радовалась вместе с ними... Это был Шолом-Алейхем. Классик, большой писатель. И сейчас, читая Раду Полищук, я испытываю то же самое.

Колоритный язык, точность деталей, любовь к своим героям, эмоциональная напряжённость — всё это захватывает и заставляет поверить в реальность её литературного мира.

Вне своих писательских занятий, «в миру», Рада кажется холодноватой, отстранённой, сдержанной. Что не мешает ей быть доброжелательной, проявлять внимание к собеседнику, даже совершенно постороннему. Находясь в клане посторонних, я приближаюсь к ней лишь тогда, когда слушаю её удивительные рассказы — в переделкинских ли, в московских ли краях — или читаю её исповедальные страницы.

В 2015 году вышла её книга «За одним столом сидели». Это книга портретов, бесед, воспоминаний. В ней воздух эпохи и любовь к тем, кто был рядом. Здесь детство, родители, сестра. И ещё здесь Переделкино. Она, книга, так и начинается — с раздела «Благословенное моё Переделкино». Уже тогда, два года назад, звучит некий реквием. «Я люблю Переделкино, замшелое, заброшенное, медленно, но неотвратимо, навсегда, уходящее в прошлое. Переделкино всё больше и больше делается похожим на забытую всеми богадельню. Уйдут, тихо, неприметно, последние его обитатели, унесут с собой свои молодые воспоминания о бесшабашном и трагическом писательском прошлом Переделкина, о встречах, арестах, смертях, самоубийствах, курьёзах, стихах, новых книгах, о только что здесь написанных прекрасных строчках о войне, о пьянках, драках, о любви... — уйдут, всё это унеся с собой, последние обитатели последнего писательского приюта, и никто никогда не найдёт дорогу сюда. Сомкнутся годами натоптанные тропинки, содвинут ветви дерева — и не пустят сюда чужака. *Это* Переделкино исчезнет навсегда. Разве что — рукописи не горят?»

Дальше возникают имена — известные, хрестоматийные, а для автора — имена друзей. Михаил Рощин — Домовой Переделкина, Лев Разгон, Семён Липкин, Михаил Козаков, Александр Ревич, Кирилл Ковальджи, Александр Городницкий, Лев Аннинский, Марк Розовский, Инна Лиснянская, и ещё, и ещё... Фотографии, воспоминания, размышления. Отличная мемуарная проза, пронизанная искренним чувством

любви к своим персонажам. Эту книгу можно читать долго, задумываясь над каждой страницей. Документ времени. Творческий документ. Я из того же времени, и это почему-то заставляет меня тихо радоваться.

Они всегда вместе — Рада, Александр Ефимович и Вика. Виктория, Вика — художница. Александр Ефимович пишет стихи и прозу, замечательно пишет, ярко, необычно. И это творческое трио для меня неотъемлемо от Переделкина. И всё ещё теплится надежда — может, не кончилось Переделкино, может, встретимся там летом?..



Среди переделкинцев были и те, кого я видела лишь издалека, знала по книгам, но личным знакомством это назвать было нельзя. В памяти остались лишь мимолётные портреты и ощущение прикосновения к настоящей поэзии.

### *Константин Ваншенкин*

Константин Яковлевич Ваншенкин... В неизменной кепочке, спокойный, с доброй улыбкой. Откуда-то издалека, из молодости возникает голос Георга Отса — «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново...» Легендарная песня, которой более полувека, легендарный человек. Многие из его стихов стали песнями. И ритмы его большей частью песенные, ясные. Но стихи о войне...

Земли потрескавшейся корка.  
Война. Далёкие года...  
Мой друг мне крикнул: — Есть махорка?  
А я ему: — Иди сюда!



И мы стояли у кювета,  
Благословляя свой привал,  
И он уже достал газету,  
А я махорку доставал.

Слепил сигарку я прилежно  
И чиркнул спичкой раз и два.  
А он сказал мне безмятежно:  
— Ты сам прикуривай сперва.

От ветра заслонясь умело,  
Я отступил на шаг всего,  
Но пуля, что в меня летела,  
Попала в друга моего.

И он качнулся как-то зыбко,  
Упал, просыпав весь табак,  
И виноватая улыбка  
Застыла на его губах.

И я не мог улыбку эту  
Забыть в походе и в бою  
И как шагали вдоль кювета  
Мы с ним у жизни на краю.

Жара плыла, метель свистела  
А я забыть не смог того,  
Как пуля, что в меня летела,  
Попала в друга моего...

Лирические его стихи по-юношески трогательны  
и одновременно глубоки.

Вспыхнувшая спичка,  
Венчик золотой.  
Маленькая стычка  
Света с темнотой.

Краткое мгновенье.  
Но явилось там  
Неповиновенье  
Вьюгам и дождям.

Ночи всё бездонней,  
Но опять, смотри, —  
Домик из ладоней,  
С огоньком внутри.

Где на перекрестках  
Мрак со всех сторон, —  
Сруб из пальцев жестких  
Слабо озарен.

Его литературные пометки на листках моей рукописи — как драгоценный автограф замечательной личности, замечательного поэта.

### *Инна Лиснянская*

Инна Лиснянская летом 2006-го проводила свой вечер в музее Чуковского. Синие стены, старинная люстра, портреты на стенах. Запомнилось исчерченное морщинами, словно вырезанное из старого дерева лицо, живые глаза, хрипловатый голос, сигарета... И великолепные стихи. Как раз вышли её книги — «Эхо» и «Шкатулка». Из «Шкатулки»:

В милое Подмосковье  
Я к тебе, брат, с письмом:  
Двигается воздух в слове  
И не скудеет в нём...

Нам ничего не внове —  
Призрачен век и дом, —  
Мы рождаемся в слове  
И умираем в нём.

Сколько огня и крови!  
Меченые крестом,  
Мы умираем в слове  
И воскресаем в нём.

«Шкатулка» получила премию Александра Солженицына «за прозрачную глубину русского слова и многолетне явленную в нём поэзию сострадания». Поистине она вправе сказать:

Но лет через тридцать свидетель иной  
Раскроет тетрадь,  
И слово моё на свету, словно знак водяной,  
Начнёт проступать.

Инны Львовны не стало в 2014 году. Стихи же будут всегда.

Обе её книги и сегодня стоят на моей ближней книжной полке.

## *Александр Ревич*

Александр Михайлович Ревич отпечатался в памяти как добрый старый волшебник, встреченный на сказочной дороге. Небольшого роста, хрупкий, с неизменной улыбкой, с лёгким рукопожатием, с постоянным дружеским расположением ко всем, кто рядом, с готовностью помочь, посоветовать, направить... Известный переводчик и поэт, он прошёл длинный творческий путь. А ещё была суровая военная биография — война, фашистский плен, побеги, ранения, Сталинградская битва, фронтовые награды... И странно было думать, что он, такой мирный, добрый, светящийся человек, сидящий на старой переделкинской скамейке, прошёл через войну и состоялся в большой русской литературе, оставив стихи, переводы, воспоминания.

В его книге «Позднее прощание», издании 2010-го года, где собраны стихи и мемуарная проза, возникают, конечно, и строки о Переделкине:

Сосны всё те же и дачи всё те же,  
новые лица, повадки и быт,  
новые дыры в заборах, и свежи  
новые ссадины тех же обид.

Этих уж нет, а иные далече,  
но почему-то, как в давнем году,  
небо ложится деревьям на плечи,  
и перевёрнуты сосны в пруду.

Уже пять лет прошло с тех пор, как Александр Ревич закончил свой жизненный путь, но помнят его читатели, коллеги, ученики, и те, кому он встретился и улыбнулся на аллее Переделкина.

Вкус железной воды из колодца,  
солнце марта и тающий снег —  
всё, что было, при нас остается,  
было-сплыло, пребудет вовек.  
Всё, что радостно, всё, что печально,  
не исчезнет во все времена:  
та ладонь, что махнула прощально,  
та щека, что от слёз солона.

*Вадим Рабинович*

Философ, химик и поэт, Вадим Львович Рабинович наезжал в Переделкино каждое лето но всегда был в отдалении, среди своих. Седой, взлохмаченный, он сильно горбился, говорил хрипловато и громко. В 2013-м он приехал не один, с женой Людмилой, милой женщиной средних лет, которая поддерживала его последние годы, опекала. Научные его регалии оказались безумно интересными — докторская диссертация на тему реконструкции донаучных форм знания. Алхимию изучал поэт в молодости! Профессор философского факультета МГУ, культуролог... Если бы знать об этом тогда, во время переделкинских прогулок, поговорить... Не успели.

Как-то меня тронуло то, как эта пара шла по аллее вглубь парка, как бережно вела его под руку его спутница. Я сделала снимок, издалека. Он был последним, этот снимок. Тогда я успела послать по электронной почте своё стихотворение о прощании с переделкинским летом. Вадим Львович ответил коротким растроганным письмом. А через две недели его не стало.

Расставание было легко,  
несерьёзно,  
ведь и встреча случилась  
не слишком всерьёз.

Но повеяло чем-то  
щемящим и грозным —  
горьковатым предчувствием  
подлинных слёз.

Вдруг почудилось, что  
и деревья, и люди,  
населявшие эти  
недолгие дни,  
заскучают  
и долго печалиться будут,  
будто вправду  
со мной породнились они.

И я буду писать им  
строкой электронной,  
как я помню их речи,  
улыбки, тепло,  
возвращаясь на тот  
незабвенный, зелёный  
переделкинский остров,  
где быть повезло.

## *Зиновий Вальшонок*

Зиновий Михайлович Вальшонок был монументален. Монументален был он сам — высокий, седовласый, величественный. Монументальны были его книги — огромные тяжёлые фолианты в роскошных переплётах. Даже голос был монументален — бархатный, низкий, красивый. Это — первое визуальное впечатление. А потом было знакомство с его книгами. И это было — захватывающе.

Традиционный поэт, Зиновий Вальшонок — мастер русской поэзии. И очень многогранный мастер. Тут и любовная лирика — такая чистая, щемящая, и проза, и великолепный юмор. Думаю, что он известен не так широко, как мог бы, только потому, что всегда был далёк от профессиональных конфликтов и интриг, не был участником никаких кланов, корпоративных течений. Он писал.

Первые его стихи были опубликованы в журнале «Новый мир» в 1962 году. В ту пору главным редактором этого известного толстого журнала был Александр Трифонович Твардовский, который заметил талант молодого поэта и, как говорит сам Зиновий Михайлович, благословил его на пути в большую литературу. К своим восьмидесяти трём Зиновий Михайлович подошёл, имея десятки книг, собрание сочинений и безупречную репутацию.

Стоит открыть любую из них — сразу становится ясно, что это настоящая поэзия. Чистый язык, стилистическая безупречность, яркая образность.

Его рукописная антология «Тайна «Зелёной книги» — литературный дневник, где собрана вся или почти вся наша поэзия, начиная с послевоенных времён... Задуманная как семейный альбом, как в своё время «Чукоккала» у Корнея Ивановича, книга стала антологией советской и постсоветской русской литературы, неотделимой от судьбы автора.

Рукописный альбом —  
Антология века,  
Где эпохи разлом  
Не сломал Человека.  
Тут — страданий чума  
И любви нескладуха,  
И прозренья ума,  
И пророчества духа...  
Здесь, убог и велик,  
Как бессмертный биограф,  
Человеческий лик  
Свой оставил автограф.

Встречи, имена, пересечения судеб... Поэты и писатели, писавшие ему, а он — им, фотографии... Павел Антокольский и Степан Щипачёв, Арсений Тарковский и Булат Окуджава, Константин Ваншенкин и Давид Самойлов, Лев Гумилев и Владимир Высоцкий, Борис Слуцкий и Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский, Борис Чичибабин... И многие, многие другие.



Белла Ахмадулина — и она, конечно, она, неразрывно связанная с этим Домом, и они виделись там, беседовали, переписывались.

Белла — Вальшонку (1982 год):

Мы из Мичуринца, где листья  
В дым обращает садовод.  
Нам Переделкино — столица,  
Там ярче и хмельней народ.

Автор — Белле (значительно позже):

Звук, рождённый тишайшей гортанью,  
как души неизбежный оброк,  
бескорыстно отдаст мирозданию  
миловидный и хрупкий пророк.  
О, магических ямбов паренье,  
им поручена трудная роль!  
Под изысканным их опереньем  
неподдельная прячется боль.  
... Ты, наследница древнего слога,  
вся в смещении яви и сна.  
Я-то знаю: у зоркого Бога  
Ты сегодня такая одна!

Стихи о любви:

... И смеха твоего боюсь, и слез,  
и губ тишайших, до печали падких.  
Боюсь твоих рассыпанных волос,  
что прикрывают крылья на лопатках...

Есть в «Зелёной книге» стихотворение, адресованное Мариетте Шагинян. Это его «Плач по Переделкину», написанный несколько лет назад:

Спешу из сумрачной Москвы гнусавой электричкой  
сюда, где реет средь листвы пророков переключка.  
Где кладезь ключевой воды и венчики растений  
хранят нетленные следы святых прикосновений.  
О, переделкинский приют, судьбы моей начало.  
Какие люди жили тут, какая речь звучала!

Я здесь, войдя в седой простор,  
как в зоркую Россию,  
из двух цветаевских сестёр застал Анастасию.  
Лес был зарёю осиян, и брезжили снежинки.  
И колдовала Шагинян с рассвета на машинке.  
Здесь грозным посохом стуча,  
сонет мой робкий правил,  
то улыбаясь, то ворча, сам Антокольский Павел.  
Здесь мне открыл латунный лик

и пристальную душу  
Тарковский, трепетный старик —

по имени Арсюша.  
Шепчу, наставников любя: «Спасибо вам, предтечи,  
за осознание себя, за дух высокой речи!..»

Где три сосны и лунный диск сквозят из полумрака,  
мерцает скорбный обелиск над прахом Пастернака.  
Всё тот же тихий снегопад, но что-то проглядели...  
Царят унынье и распад в блаженной цитадели.  
Под сенью жертвенной ольхи —

людское запустенье.  
Всё глуше вещие стихи бубнят святые тени...

Борис Чичибабин — земляк, духовный наставник и друг — так писал о нём: «...Лирическая поэзия, как взаимная любовь, похожа на счастье и чудо и так же, как она, требует от обеих «участвующих сторон» значительного душевного напряжения и труда, угадываний и уступок, дарений и прощений, приятий и жертв: вот почему читателей стиха, по-настоящему любящих поэзию, никогда не может быть много, а истинных лирических поэтов всегда будет очень мало. З. Вальшонок, по-моему, не просто хороший, то есть настоящий, истинный поэт, он ещё и откровенно, подчеркнуто лирический поэт. Он не просто говорит от своего лица, пропуская все события и предметы через свою душу и совесть, своё восприятие и отношение, как это делают все лирические поэты, но он и говорит большей частью о себе».

О поэзии и творческом пути Зиновия Михайловича Вальшонка писали и пишут многие, и, надо полагать, будут писать, потому что он — из плеяды настоящих Мастеров. Я же помню его внимательную чуткость к моим стихам и то, что он после нашей беседы уединился в своём кабинете, и вскоре оттуда донёсся стук пишущей машинки. Зиновий Михайлович печатал для меня рекомендацию в Союз писателей Москвы.

Недавно его книги запросил РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства — «Архив муз», учреждение из Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Крупнейшее хранилище России, в котором сосредоточены богатейшие

материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. Там теперь будут храниться лучшие из его книг.

Изведав свет и грусть дубрав и рек России,  
в пророки я не рвусь и не стремлюсь в мессии.  
Про звёзды и капель, про всё, чем время живо,  
свищу в свою свирель светло и одержимо.

И если доведётся вернуться в Переделкино, пусть  
завучит на его аллеях свирель Зиновия Вальшонка.

## Лариса Миллер

Лариса Миллер — чёрная коса до пояса, спокойное открытое лицо. Стихи Ларисы Миллер — совершенно наособицу. Всегда очень короткие, очень простые, абсолютно без современной игры в слова, слоги и звуки. Стихи, кажущиеся почти детскими... Но каждое такое стихотворение — крошечный шедевр, непонятным, ей лишь доступным образом выражающий чувство любви ко всему живому — к окружающей скромной природе, к дождю, снегу, к птицам, к людям... Они как живой ручей, текут, льются, и мелодия звучит и звучит, то грустно, то с надеждой.

Здравствуй, ветка, ты на месте.  
Говорю тебе без лести —  
Ты на диво хороша.  
Будем жить с тобою вместе —  
Ты — шурша, а я — дыша.  
Мы с тобою постарели,  
Но зато какие трели,  
Что за трели у скворца.  
Как на свежей акварели  
Дом с фасада и торца.  
Ты качаешься в окошке,  
Я живу в своей сторожке —  
То читаю, то пою.  
Видишь, в час по чайной ложке  
Проживаю жизнь свою.

Кроме Переделкина, я вижу Ларису Миллер в литературных залах Москвы, на её вечерах, которые старюсь не пропускать. У меня несколько её книг, я их открываю, когда на душе пасмурно и нужно услышать:

Всё заново — с первой волшебной минуты,  
Чтоб вспыхнули маки в саду, как салюты,  
Чтоб бабочка нежно на маки садилась  
И чтобы надежда в душе зародилась  
На то, что мне срок прожитой не зачтётся  
И всё только с этой минуты начнётся.



*Музеи  
Переделькина*

История писательского городка в Переделкине и Дома творчества насчитывает десятки лет, начинаясь с идеи Максима Горького создать такой писательский заповедник в ближнем Подмосковье. Это было в 1930-м году. В 1934 был создан Союз советских писателей и Литературный фонд. В 1935-м появились первые писательские дачи и лишь в 1953-м — Дом творчества, который теперь называют Старым корпусом. В течение двадцати лет создавался волшебный городок писателей, вокруг которого до сих пор бушуют страсти. С нынешнего 2017-го писательское Переделкино передано государству.

В последнее время много пишут не только о природной экологии, но и о важности сохранения духовной экологии. Впервые этот термин прозвучал в «Литературной газете» в 2008 году. Тогда кандидат географических и доктор социологических наук, учёный, писатель и старожил Переделкина Сергей Павлович Лукницкий ратовал за сохранение Переделкина как музея.

А ведь ещё во времена Литфонда СССР был принят некий документ, решение о постройке здесь большого литературного музея, объединившего все памятные имена. Документ, как и та страна, ушёл в историю. Ушли очень многие талантливые и незаурядные жители Переделкина, в их числе Чингиз



Айтматов, Булат Окуджава, Григорий Поженян, Римма Казакова, Георгий Гачев, Михаил Рошин, Фазиль Искандер, Евгений Евтушенко...

Будущая духовная экология нашего общества немыслима без Переделкина — центра отечественной литературы. Это особая страна, где, помимо столицы, коей я полагаю Дом творчества, и сегодня живы места, где сконцентрирована духовная и творческая энергия русских поэтов — дачи-музеи. Пастернак, Чуковский и Булат Окуджава, умерший в Париже, но оставшийся здесь навсегда. И художественная галерея-музей Евтушенко, открытая им в 2010-м и переданная государству — Центральному музею современной истории России.

Каждый, кто приезжает в этот литературный заповедник, непременно идёт к ним, входит в их старые дачи, в тот особый мир творчества, который создавался здесь и становился потом достоянием мировой культуры. Энтузиасты и хранители творческого духа этих мест организуют в Музее Булата Окуджавы, «булатовские субботы», регулярно проходят бардовские концерты, в Музее Пастернака — поэтические встречи. А в Доме-музее Корнея Чуковского проводятся тематические литературные вечера и встречи с писателями.

## МУЗЕЙ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

*Евгений Евтушенко*

Моё Переделкино начиналось с музея Булата Окуджавы. Каждую неделю здесь собирались поэты, барды, друзья Булата и просто любители поэзии, и всегда возникала та удивительная атмосфера понимания, близости, какого-то человеческого единения — того, что одно только и даёт надежду на продолжение жизни. «Возьмёмся за руки, друзья!..» На этих субботах встречались, радовались, влюблялись в новые стихи и песни, пели вместе старые.

Тринадцать лет назад на одном из таких вечеров выступал Евгений Евтушенко. Было лето две тысячи четвёртого. Ясным зелёным утром мы, группа отдыхающих в соседнем санатории, отправились в Мичуринец, в гости к Булату. Прибыли туда электричкой, а до неё были ещё два автобуса.

Здесьние автобусы в ту пору были уже настолько цивилизованны, что оснастились турникетами, пропускающими по карточке-билету. Турникет процеживал неорганизованную толпу и отсекал «зайцев». Для пенсионеров и прочих льготников годилась пластиковая «Социальная карта москвича». Впрочем, это было, по сути, единственное её применение. Мне ни разу не доводилось видеть пенсионерку, снимающую по этой карте деньги с банкомата. А уж как расписывали эту возможность власти! А старики всё равно тянутся в сберкассах в день выдачи пенсии...

В Солнцево и Переделкине такие автобусы ходили уже второй год. Народ привык и даже не раздражался, когда какая-нибудь бабушка долго роется в сумке, добывая свой бесплатный документ на проезд. По слухам, все эти сложности обещали скоро упростить, просто убрав все льготы и взамен пристегнув к пенсии какую-то малость, отнюдь не адекватную этой бесплатной карточке. К счастью, эта идея не осуществилась. Турникеты тоже впоследствии не раз грозились убрать, но они остались, и уже никто не ропщет на задержку во время посадки.

Платформа «Переделкино», откуда мы отправились в Мичуринец — всего-то одна остановка! — тоже порадовала новшествами. Кассовый зал, совершенно пустой, и, конечно, снова турникеты. На перрон можно попасть, лишь опустив в его узкую пасть билет. Допустим, в этом есть какой-то резон. Хотя — а если кто-то провожает? Но вот обратно-то, с электрички в город, здесь они зачем? Однако стояли, щелкали металлическими челюстями, не пускали без того, чтобы не проглотить обратный билет. Цивилизация...

Когда-то мы добирались из санатория к Мичуринцу пешком, минуя расположенную неподалёку великолепную Солнечную поляну. Эта поляна открывалась нам таким разливом солнца и оттенков зелени и цветов, что хотелось, выдохнув восторженное «А-а-а-х!», тут же упасть в это благоуханное раздолье и раствориться в сияющей синеве неба над нею.

Под деревьями там уютно располагались деревянные столики и лавки, и весёлые пенсионеры из окрестных дач и даже приезжающие из Москвы

резались в домино или вели неспешные беседы, подставляя солнцу грузные немолодые тела в купальниках и трусах советского покроя.

Осенью поляна была раззолочена, как риза священника в православный праздник. Польшал роскошный ясень, золотились березы, алым цветом вспыхивали клёны.

В этот раз поляна была тиха, безлюдна. Скошенный луг топорщился колючей стернёй. Желтизны ещё не было, зелень пышно переливалась всеми оттенками — от светло-изумрудного до болотной тины, теплынь и мягкое солнце сквозь облака погружали её словно в полудрёму. Но грустная была эта полудрёма. Исчезли столики и лавочки, не было слышно голосов, даже птиц не было слышно. Давно уже не ходят на поляну отдыхающие из окрестных санаториев и не приезжают гости из клуба весёлых стариков. Другое время, другие песни... Коттеджи, иномарки, заборы. Опасность, отчуждение, лай собак за оградами особняков...

В Мичуринце указатели «К Булату», «К даче Булата Окуджавы» вели нас к улице Довженко, где, незадолго до своей трагической кончины во Франции поселился бард.

Мичуринец — ближний сосед Переделкина, примыкает к нему, сливаясь в единое, примечательное для всех пишущих и читающих понятие. Здесь всегда у писателей были скромные дачи, но громкие звучали имена, и дух русской литературы ощущался здесь во всем её великолепии и противоречивости.

Время коснулось этого благословенного для русского человека места главным образом тем, что

старые дачки сжались, стеснились, добавилось много новых глухих заборов и строений явно не писательского происхождения. Вот за старым, не снесённым ещё заборчиком, воздвигается нечто огромное, похожее на краснокирпичный дворец в несколько этажей. Здание ещё не достроено, но уже подавляет громоздкой массивностью и мрачным видом будущей новорусской крепости. А заборчик снесут, возведут мощную ограду, оснастят видеокамерами и охраной...

То, что хозяин не только не читал, но даже не слышал о каких-то чудаках, именами которых названы улицы престижного ныне посёлка, совершенно очевидно. Как и то, что запах долларовых миллионов постепенно вытесняет отсюда атмосферу интеллигентности и культуры, поглощая сам переделкинский воздух и свет.

Почему улица носит имя Довженко? Разве жил он здесь, под Москвой? Кто знает, может, в гости приезжал к какому-нибудь корифею... И мы идём к улице Довженко. Зелёные своды деревьев, хрустящий гравий узких улочек... Идём неспешно и уверенно, потому что ошибиться нельзя, никуда более не мог бы течь этот поток светлых и доброжелательных лиц — единомышленников и друзей Булата. Вот и домик, и цветной тент над скамьями во дворе, и голос Булата из окна, записи его песен...

Народ размещается на узких досках, положенных на чурбаки распиленных брёвен. Мелькают кинокамеры.

Как всегда, много знакомых лиц. Безымянных для меня, но очень знакомых, чудных лиц. Где, когда ещё можно увидеть такие — вместе, объединённые одними

пристрастиями, одной культурой, одним восприятием? Если провести взглядом, как кинокамерой, по рядам, то возникают кадры уникальные. Вот женщина в широкополой соломенной шляпе с лентой, будто из соседнего помещицкого имения. Хрупкая пожилая седовласая дама с блокнотиком — строчит, записывает. Девушка с модной стрижкой, но без косметики, сияющая глазами, нежной кожей, улыбкой. Девочка, почти ребенок, поперёк лба ремешок, морщинка на переносице — слушает, вникает. Наголо обритый подросток, внимателен, неподвижен. Длинноволосый юноша с кинокамерой. Дети — ангелоподобный белокурый мальчик лет трёх и девочка, ещё меньше — прямо с картины старых мастеров. И очень много знакомых, определённо знакомых лиц! Не зная по имени — знаю!

А вот и вполне узнаваемые. Мудрый спокойный взгляд, полуулыбка. Немолодой уже, грустный... Фазиль Искандер. Человек с небольшой бородкой, редкие волосы до плеч, одышка, возраст... Михаил Рощин. Ещё один бородач, грузный, но весьма энергичный... Юрий Карякин.

Толпа густеет, люди прибывают. Сидящие на скамьях спрессовываются, чтобы вместить новых гостей. У входа, возле билетёрши — лоток с книгами и кассетами, к нему очередь. До начала оставалось совсем немного, когда я, недолго посомневавшись, выудила из сумки открытку из Салона изящных искусств и протиснулась вперёд, туда, где стоял рассеянно-печальный Фазиль Искандер. Он улыбнулся и безропотно выписал, почти нарисовал на обороте открытки автограф, похожий на нотные знаки — «ФА...»



Тем временем толпа приходит в движение, как бы завихряясь, и в центре её маленького водоворота — кепочка клинышками, морщинистое лицо, знакомое по обложкам и телеэкранам, рубашка в полоску всех цветов радуги... Евтушенко. Герой дня.

Недавно прогремел его семидесятилетний юбилей, на всех каналах можно было увидеть мэтра советской поэзии — молодежавого, подтянутого, спортивного. Гражданин мира, ныне живущий между Америкой и Европой, нечастый гость в Москве, признанный и обласканный, трибун и лирик, он всё же остается для нас одним из тех шестидесятников, читающих свои стихи в Политехническом. Как мы охотились за маленькими сборниками Вознесенского, Рождественского и, конечно, Евтушенко. Обменивались, зачитывались...

Он не слишком изменился за эти десятилетия. Постарел, конечно, но всё еще в хорошей форме. И голос тот же, и манера чтения и ностальгические нотки при экскурсах в детство и юность. И так же влюблён в поэзию.

Но прежде, чем он подошел к столу, включили запись, и немолодой, но ясный и твёрдый голос Ольги Окуджавы произнёс, что музей дарит ему старую плёнку, снятую в Политехническом, на вечере поэзии, в тех памятных шестидесятых. Вдова Окуджавы прислала юбиляру своё поздравление.

На экране появились фрагменты фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича». В своё время их вырезали как ненужные. Только теперь эти документальные кадры обошли все телепередачи и вот — появились

здесь. Возникли юные лица поэтов — Рождественский, Поженин, Римма Казакова, Андрей Вознесенский... Булат Окуджава — тоненький, с тёмной, буйной ещё шевелюрой, садится на стул, берет гитару: «...И я опять паду на той, на той единственной Гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...» Искренне, чисто. Верили. Верили, что не зря, не зря многие остались там, на Гражданской, на Отечественной... А вот Белла Ахмадулина, совсем девочка, с глазами лани и звенящим, чистым, пронзающим душу голосом...

Затем появились и поэты постарше — Михаил Светлов, Борис Слуцкий. Где, в какой ещё стране было столько замечательных поэтов?

Сегодня, в 2004-м, Вознесенский ушел в «видеопоззию» и занят геометрией стиха. Казакова стала секретарем Союза писателей Москвы, публикуется мало. Роберта Рождественского нет с нами уже десять лет. Белла читает стихи и сегодня, но когда она появляется на экране, становится больно — время не пощадило её хрупкую светящуюся красоту. Но стоит её услышать — и через морщины и бледность проступают чудные черты её Поэзии. И ещё то, что называют породой, интеллигентностью, аристократизмом, а в целом — душой, прекрасной душой, звучащей в её стихах. А доведись Булату быть с нами сейчас, что бы он сказал, что спел? В последние годы он был печален, писал в основном прозу...

Но вот отзвучали шестидесятники на экране, и к столу подошёл юбиляр и герой сегодняшней встречи. Вытряхнул из объёмистой сумки листки

и книги, снял кепочку, надел очки в тонкой модной оправе... Сразу стал как-то старше, солиднее. То, что он говорил, порой напоминало лекцию, порой мемуары. Читал он много, предвзято чтение рассказом о героях стихотворения и событиях, запечатлённых в нем. Начал он с Анны Буниной, первой вошедшей в его «Антологию десяти веков русской поэзии»:

— Поэт допушкинской ещё поры, она была тяжело, неизлечимо больна, в последние годы жизни почти не могла двигаться, писала на коленях. Но Анна Ахматова считала её своей прабабкой по крови, а себя в поэзии — её наследницей.

Говоря о женщинах-поэтах, Евтушенко воодушевился: — Она была настоящим поэтом. Именно поэтом, а не поэтессой. Я не люблю слова «поэтесса», не признаю его. Впрочем, так же считала и Марина Цветаева.

Мне не кажется пренебрежительным термин «поэтесса», хотя есть в нем есть какая-то снисходительная интонация.

— Среди нас присутствует замечательный поэт — Инна Лиснянская. Я тоже отношу её к духовным наследницам Анны Буниной. И по силе таланта, и по силе её личности. Жизнь её тоже была полна невзгод, но она сохранила достоинство. Женщины... Я вспоминаю: когда арестовали обоих моих дедов, мы с матерью стояли в длиннейшей очереди в «Матросскую Тишину». В тюрьму, отнявшую близких у тысяч и тысяч семей. И в этой веренице усталых, отчаявшихся людей не было ни одного мужчины. Ни одного! Только женщины. Они стояли в горестной

этой очереди по всей стране. И Анна Ахматова стояла. Там рождался её «Реквием».

У входа продавали книгу Евтушенко 1990-го года выпуска. А то, что было в ней опубликовано, относилось в основном к 1989-му. Это очень политическая книга, из статей, речей на съезде депутатов и стихов на политическую тему. В ней я прочитала размышления поэта о русских женщинах. Сейчас он повторялся. Видно, эта мысль занимала его.

— Мужчин там не было, потому что они — боялись. Мужчины боялись. А женщины — нет. Белла Ахмадулина подписала все письма правозащитников, которые должен был подписать каждый нравственный человек. Она пришла к Сахарову, уже опальному, это было опасно. Пришла — прямая, гордая, в широкополой шляпе. Она едва помещалась в автомобиле, эта шляпа, и с огромным букетом хризантем. И этим своим букетом она буквально раздвинула толпу опешивших сексотов. Такими бесстрашными были и Одоевцева, и Ольга Берггольц.

Свою оду женщинам он завершил стихами — Анне Буниной и Белле.

Потом последовал рассказ о том, как они с Фазилом Искандером ходили в оперетту. Тогда, в молодости, когда страна замирала от страха, они ходили смотреть «Сильву». И это обыденное, по сути, событие представало перед нами, как поступок. В оперетте они видели великолепного комика Ярона, замечательного танцовщика Шишкина, восторгались искромётным канканом... И побеждали страх смехом.

Об этом тоже были прочитаны стихи, он прочитал их своим громким, хорошо поставленным голосом. А потом сказал, почему-то с грустью: — Наши дети будут другими. Они изменят Россию...

Между тем высокое небо затянулось облачками, закапал дождь. Он набирал силу и вскоре уже всюду звенел по туго натянутому над нами тенту. Те, кто сидел сзади и сбоку, куда полотнище не доставало, оказались под светлыми весёлыми потоками. Тут и там вспыхнули открывшиеся зонты.

А Евтушенко продолжал, увлекаясь, жестикулируя, молодея на глазах:

— Много говорят о национальной идее. Но философская идея не может быть национальной. Только общечеловеческой. Без идеологии жить вполне можно. Судьба России зависит от исхода её внутренней борьбы, борьбы тёмного начала и светлого. Мы сейчас в духовном смысле голые люди на голой земле. К сожалению, мы всё ещё попадаем на всякую философскую дешёвку типа Коэльо. Вокруг нас духовное беспорядие. А ведь есть у нас такой глубокий, такой русский философ, замечательно обосновавший преимущества общечеловеческой идеи — Владимир Соловьев. Он тоже был шестидесятником, но девятнадцатого века... В двадцатом есть Платонов.

Припоминаю, как один из моих коллег налетел на меня с горящими глазами: — «Ты читал «Цитадель»?!» «Да, — говорю, — конечно». Я полагал, что он имеет в виду английского писателя Кронина. — «Как здорово, правда? Это же совсем другой Сент-Экзюпери!» Дома я немедленно нашёл том

Сент-Экзюпери и, к своему стыду, обнаружил у него не читанную мной «Цитадель» — философскую, тонкую, умную вещь.

Потом он читал последние, недавно написанные стихи — «Ватник Булата», «Воробьёвы горы». О «Воробьёвых горах» он рассказал предысторию этого стихотворения.

— В 1962 году на Воробьёвых горах происходило заседание Политбюро. Это была эпоха Хрущёва. Речь шла о культуре. Осуждали авангардизм и прочие формалистические течения в искусстве. Хрущёв громил Эрнста Неизвестного. Его поддержали наши мастиные, послышались крики «Позор!». Особенно усердствовал Сергей Владимирович Михалков: — «Позор! Вон!». Я вскочил и бросился к Хрущёву:

— Неизвестный воевал! У него четырнадцать ранений! Как вы можете?!

Ошеломлённый Хрущёв замолчал. Все замерли. И вдруг он заплодировал. И тут захлопали все, а Михалков-старший кинулся пожимать мне руку.

Дождь сбавил темп, зашелестел, а вскоре и вовсе затих. Засияло солнце. Евтушенко прочитал свои «Воробьёвы горы». Хрущёв там был назван «царём с просветами совести». Потом он посмотрел на небо, улыбнулся и сказал: — Дождь перестал. Заслушался!..

Дальше он рассказывал о своей «Антологии», о поэтах, которых он поместил туда, посвящая каждому свои стихи. С некоторым смущением заговорил о классике нецензурного стихотворства Иване Баркове.

— Вот как тут быть? Я же хочу, чтобы «Антология» вошла в школьный курс, чтобы её читали дети!

А Барков... С другой стороны — ведь гениальный же автор! Говорят, что это, мол, сам Пушкин шутил. Да нет, быть этого не может! Пушкин, он же открытый был, порой душа нараспашку, ребёнок, хвастунишка. Он бы не утерпел, рассказал кому-нибудь. Но ведь никто из современников, никто, никогда... Нет, это не Пушкин. Да, скорее всего. Конечно, мне совсем не хочется, чтобы мои дети говорили на языке Киркорова! (Филипп Киркоров, известный эстрадный певец и деятель шоу-бизнеса, недавно облил грязной руганью журналистку на пресс-конференции. Это вызвало возмущение общественности и широко освещалось в прессе.) Но что делать с Барковым? Моя гипотеза: это гениальная, но совершенно неприличная вещь, принадлежащая, вероятнее всего, Алексею Константиновичу Толстому. Вводить в «Антологию» я его не стал. А стихи о нём у меня есть.

И снова — рубящие строки из стихотворения «Ивану Баркову». Рефрен: «Уж лучше мат, чем диамат! Уж лучше мат, чем автомат!» Да уж, конечно, лучше, не поспоришь. Но ещё лучше вовсе без него. По крайней мере, в литературе, претендующей на классику. А рассказ лился дальше.

— Я недавно был в Тобольске. Искал следы деда. И тогда же пришёл на кладбище, на могилу Кюхельбекера. Я опустился на колени и поцеловал край могилы. Это был интуитивный порыв, внутренний импульс... Когда у меня родился сын, он был так слаб, что не мог сосать материнское молоко. Доктор Долецкий, исчерпав все возможности, сказал: — Теперь только к Богу, в храм! И я пошёл. Спросил у молящихся,

к какой иконе подойти. Указали на Святого Пантелеймона. Я поцеловал икону. В горле стоял горячий ком. А вскоре позвонил Долецкий: — Был?! Он начал сосать! Всё нормально!..

— Я хотел бы, — продолжал он, — включить в «Антологию» многих поэтов, пусть не великих, но всё же значительных. Вот, например, Бальмонт. Или Бальмóнт. По-разному произносится. У него есть потрясающие стихи. Сейчас, сегодня пишут талантливые вещи. Очень талантливые. Вот Нина Грачева, совсем молодая. Саша Аронов, мой друг.

Потом снова были стихи. О тётке своей, Ирине, которую он в младенчестве, не умея выговорить её имя, называл просто Ра: — «Она была моим первым учителем истории. Первая сказала мне, кто такой Сталин. Когда я, захлебываясь от восторга и поклонения, подростком ещё, прочитал ей свое хвалебное стихотворение, посвящённое вождю, она холодно посмотрела на меня и кратко припечатала моего кумира клеймом убийцы». Последовало длинное и эмоциональное стихотворение «Тётя Ра».

— А вот в новый год, этот, 2004-й, я сильно заболел. Сидел на даче, в Переделкине. Был совсем один. И наткнулся на старое издание Блока. Раньше, в юности, эта книжка всегда лежала у меня на тумбочке, в изголовье. В книге оказалась фотография женщины, с которой у меня — пятьдесят лет назад! — был роман. Она была замужем, сын маленький... Она исчезла из моей жизни. На пятьдесят лет. И вот — её фотография. И письмо. Из сегодняшнего дня я вижу — мы по-настоящему, глубоко любили.

Любовь может быть невыносимым несчастьем... Она приходила и уходила тайком, печальная, тихая, и никогда не смотрела мне в глаза... Я написал стихотворение о ней, моей юной любви. Напечатал в «Известиях». Без имени, конечно, но с фотографией. И получил по электронной почте письмо — от сына этой женщины. Он благодарил меня, писал, что она прочла, стихотворение ей понравилось. Что всё помнит. Она развелась тридцать пять лет тому назад. Живёт одна. Дал телефон. И я позвонил. Мы говорили более двух часов. Через пятьдесят лет. Через океан... Я всегда доверял женщинам. Они всегда много значили в моей жизни.

Говоря об Ахматовой, он прочитал стихотворение, ей посвященное — «Окна Ахматовой». И рассказал историю этих окон. В тяжёлое послевоенное время, зимой, Анна Андреевна получила, наконец, комнату в коммуналке. В окнах были выбиты стёкла, стоял лютой холод. Тем не менее, событие было значительным, организовался праздник, пришли гости. Одному из гостей, работавшему в библиотеке, пришла в голову замечательная мысль: у них на работе, в кладовке, стояли портреты писателей. В деревянных рамах — со стёклами! Классики не обидятся, если стёкла вынуть и вставить их в пустые окна! Идея была дружно поддержана, и вскоре окна Ахматовой были застеклены. Эта история и была увековечена в экспрессивном стихотворении.

Ещё он читал стихи совсем уже недавнего времени — «Книги», «Поцелуй в метро». Последнее —

о нелепой инициативе чиновников запретить целоваться в метро. Во имя нравственности.

Наконец, последнее стихотворение «Антологии» — Цветаева. Марина Ивановна, незадолго до того, как оборвалась её жизнь, пишет письмо всеильному Берии с просьбой помиловать мужа, которому грозит расстрел. Письмо не помогло. Но этот поступок, полный трагизма, боли, отчаяния, автор видит как истинно христианский, жертвенный...

Чтение окончено. Время вопросов. Молодой голос откуда-то из задних рядов:

— Вы не отказываетесь от «Братской ГЭС»?

— Нет, почему я должен от неё отказываться? Я ею горжусь! Это было такое время. Правда, я сделал потом небольшую правку, чисто косметическую. Но суть осталась. Я потом приезжал в Братск, туда, где читал её впервые, много лет назад. Было множество людей. Пришли те, кто слушал меня, будучи ребёнком! Вот нас, шестидесятников, часто упрекают, что мы развенчивали Сталина, но Ленин оставался нашим идиолом. Но ведь мы не знали! Мы ничего не знали! И того, что именно Ленин подписал указ о создании первого ГУЛАГа на Соловках, и о его отношении к интеллигенции...

И, слегка успокоившись, продолжил:

— Россия сейчас проходит проверку — проверку демократией. Нам нужно финансирование культуры — литературы, искусства. Но не цензура! И нам не нужно учиться культуре у Америки. У неё нечему учиться. У нас великая культура, хоть мы и переживаем не лучшие времена. У Америки можно

учиться строительству, техническому прогрессу... Но не культуре. Ну вот, теперь всё. Теперь я подпишу книги всем, кто захочет.

Ручки у него не было, и я протянула ему свою. К нему пробрался Фазиль Искандер и молча стал рядом. Просветлев, Евтушенко воскликнул:

— О, Фазиль! Сейчас, сейчас, дорогой! Я пишу тебе свой последний том! Сейчас... Порылся в сумке, извлёк довольно толстый том, стоя долго писал, морща лоб и, наконец, сказал:

— Вот — «...на память о нашей канканной молодости!» Видно, запали в его душу их походы в оперетту с её огненным канканом.

Подписывая книги, мэтр утомлённо взглядывал на почитателя, отмахивался, не дослушав, от хвалебных слов, писал торопливо и неразборчиво. Бремя славы было ему тяжело.

Получив автограф и оставив на память классику свою ручку, я выбралась из толпы.

Вскоре мы уже ехали в электричке, потом в автобусах... Встреча с Евтушенко и экскурс в шестидесятые закончились.

Спустя десять лет, в лето 2014-го, Евтушенко вновь возник для меня в Переделкине — уже как художественное наследие, дар, переданный поэтом нам всем. Музей-галерея Евтушенко.

Деревянное строение в два этажа, похожее на большой светлый терем. Внутри тоже много света и свежий чистый запах дерева. Картины и фотографии. Много фотографий и много картин. Хозяин-даритель побывал во множестве стран и по своей стране немало поездил,

был современником многих известных личностей с мировыми именами. Видимо, он не принадлежал к одержимым коллекционерам, но так получалось, что ему, тоже личности с мировым именем, дарили свои работы известные мастера. Что-то покупал, чьи-то работы собирал, особенно выделяя молодых и талантливых. Очень ценил Целкова, Бибина.

Среди картин — полотна Пикассо, Шагала, Сикейроса, Леже, Брака, Пиросмани... Скульптуры — запомнились работы Церетели, вполне реалистичные, без гигантизма.

В огромном собрании фотографий не так уж много самого Евтушенко. Всё больше люди, с которыми он встречался, путешествуя по городам и весям, русская глубинка, пейзажи, детские лица...

В галерее тихо, посетителей немного — время летнее, отпуска, дачи... Поразительна была дама-экскурсовод, представляющая нам экспозицию галереи со спокойной гордостью хранителя сокровищ. Это и были сокровища, достойные крупного европейского музея. И сама дама-экскурсовод была сокровищем — ахматовский профиль, гордая посадка головы, прямая спина, очень правильная, литературно-отточенная речь... Она показывала немногочисленным экскурсантам картины так, будто это залы Малого Переделкинского Эрмитажа — профессионально, с достоинством знатока и в какой-то мере владельца всего этого богатства.

И в самом деле, музей-галерея Евтушенко, открытый 17 июля 2010 года — накануне дня рождения его создателя — действительно стал художественным

и культурным центром. Здесь интересно, сюда хочется возвращаться

Следующая встреча — вернее, прощание — произошла 11 апреля 2017 года в Большом зале Центрального Дома литераторов. Это прощание стало всенародным приношением большому поэту и человеку, с которым уходила целая эпоха поэзии и истории.

Сразу после выхода из метро «Баррикадная» подбежала худенькая женщина с лицом сосредоточенным и скорбным, с рюкзачком за спиной, лёгкая, летящая — спросила, как пройти на улицу Большую Никитскую дом 53 Дом литераторов. Адрес выговаривала тщательно, не по-московски, очень спешила. — К Евтушенко? — Да, к Евтушенко. И полетела по площади к Садовому кольцу. Приезжая.

В самом начале Большой Никитской обозначилась полиция и барьеры оцепления. Полицейский, едва взглянув на меня, сказал скорее утвердительно, чем вопросительно «В ЦДЛ» и махнул жезлом вправо, где уже шёл поток людей к дверям Дома литераторов. Люди входили, перемешивались в вестибюле, поднимались по лестнице на второй этаж, откуда на них с большого портрета смотрел Евгений Александрович Евтушенко, живой и весёлый, и не верилось, что это последняя с ним встреча.

На лестнице движение замедлилось, почти остановилось. Мы стояли с Леной Печерской, поэтом и переводчиком, прижимали к себе букетики с чётным числом роз и тюльпанов, ждали, как все, и, как все, чувствовали свою причастность ко всем и ко всему — к поэзии, к литературе вообще, к рядом

стоящим людям, к нему, ушедшему, к стране... На стене можно было долго рассматривать портреты нобелевских лауреатов по литературе — Бунин, Шолохов, Пастернак, Солженицын, Бродский... Приходило в голову — почему он не здесь? Говорят, номинировали, но — не случилось.

В фойе второго этажа, тоже набитом битком, люди толпились, стояли, сидели на стульчиках, слушали голос из зала, где шла гражданская панихида. Она началась в девять утра и к двенадцати наплыв людей не только не уменьшился, а всё нарастал, заполняя всё перед входом в Большой зал. Оттуда звучали голоса выступающих и стихи, стихи, стихи... Марк Розовский, Сергей Никитин, Юрий Николаев и ещё многие, чьи имена трудно было расслышать, говорили о нём, Евгении Евтушенко, слова сердечные и искренние. Те, что говорят, когда провожают друга.

Сергей Никитин рассказал, как Андрей Петров, автор музыки к фильму «Берегись автомобиля», шутливо усомнился, сможет ли Евтушенко написать слова к его мелодии, и тот написал, и попросил Сергея, тоже шутливо, исполнить эту песню во время проводов его, Евтушенко, в мир иной. И Сергей Никитин запел. И верилось, что поэт его слышит.

А зал всё заполнялся, хотя, казалось, не осталось и щелки, куда бы не втискивались люди. Тысячи и тысячи — в зале, в вестибюлях, на улице... В двенадцать началось прощание.

Плотный поток, медленно, струйкой, в молчании и печали, тёк мимо гроба, возвышающегося над большой насыпью из венков и цветов. И каждый

всматривался в бледное, измученное, но спокойное лицо, памятное надолго, может быть, навсегда. Прощай, Евгений Александрович, прощай! Твои стихи останутся, и труд твоей жизни — Антология — останется, и то добро, что ты сделал для людей, и память — всё останется с нами, пишущими и читающими, и с переделкинскими соснами, со всей Россией.

Мне думается, творчество Евгения Евтушенко — это довольно часто — публицистика, добротна и профессионально уложенная в строй стиха. История. Свидетельство времени... Можно считать его гением, можно — версификатором, как взглянуть. Но нельзя отрицать, что он — явление в советской — именно в советской! — поэзии. Его нельзя отлучить от романтизма шестидесятых годов прошлого века, как нельзя отлучить Маяковского от революции. И как бы потом ни развивалась судьба его поэтического наследия, он останется серьезной, ощутимой частью и литературы нашей, и истории. К тому же он умел иногда быть таким тонким лириком...

15 и 16 июля 2017 года музей-галерея Евтушенко в Переделкине принимала посетителей бесплатно. Это было приурочено ко дню рождения поэта. Ему исполнилось бы 85 лет.

## *Александр Городницкий и Анна Наль*

В музее Булата Окуджавы собирались на вечер Александра Городницкого. Публика уже заполнила всё небольшое пространство между дачей Окуджавы и домом побольше, не известного мне владельца, но, видимо, имеющего к Булату отношение. Над скамьями тот же цветной тент, местами порванный. Люди сидят плотно, стоят у стен, у многих фотоаппараты и кинокамеры. Перед скамьями сооружен небольшой помост вроде сцены, опутанной шнурами микрофонов. Темноволосая женщина позвонила в колокольчик. — Друзья, мы начинаем! Сегодня у нас здесь Александр Иосифович Городницкий и Анна Наль. Анна Наль, помимо того, что она жена Александра Иосифовича — поэт, переводчик с восточно-европейских языков. Выпустила несколько сборников стихов. Её книга «Весы» сегодня здесь продается... — И дарится! Это сказала женщина, сидящая рядом с Городницким. У нее было точёное лицо, слегка усталое, и глубокий чистый голос, сразу привлекающий внимание. Это и была Анна Наль. — Александра Иосифовича вы все знаете, он учёный, океанолог, а его стихи и песни поют все поколения интеллигентов...

Городницкий — седой, сухощавый, узнаваемый с первого взгляда, осторожно взобрался на импровизированную сцену.

— Должен сказать, что мы с Анной — полные противоположности, — начал он. — Её стихи трудно воспринять с первого прочтения, у них своя глубина,



мои же — примитивны... Я ведь сначала узнал её стихи, пришел в восторг, изумился, а уж потом нашёл автора... Так что я буду разбавлять её стихи своими песенками. Вот прочитаю то, что посвятил Анне, когда был на Гибралтаре, давно, в семьдесят шестом... «Геркулесовы столбы». Это песня.

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога,  
У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей.  
Меня оплакать не спеши, ты подожди немного,  
И чёрных платьев не носи, и частых слёз не сей.

Ещё под парусом тугим в чужих морях не спим мы,  
Ещё к тебе я доберусь, не зная сам, когда.  
У Геркулесовых столбов дельфины греют спины,  
И между двух материков огни несут суда...

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога.  
Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь.  
Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, —  
И вина сладкие не пей, и женихам не верь!

Он читал, голос был глуховатый, теплый, бардовский, оттуда, из шестидесятых, из молодости... Потом поднялась Анна Наль, подняла микрофон, и странные, ритмичные и в то же время какие-то размытые неожиданными концовками стихи полились над рядами слушателей.

Светясь в воздушном океане,  
Жираф, горящий на поляне,  
Парит, как вывеска в тумане,  
Украшив сюр существования  
Мечтой взаимопониманья...

Её стихи нуждались в комментариях. Вот и сейчас получалось, что сюр — сюрреализм — есть явь, реальность, но её видит лишь художник.

Пестуй зреньё — о жизни судить  
по чернилам багряно-ореховым.  
Глеет скоропись нашей судьбы,  
обречённой на быть и не быть  
теньевыми прорехами.

Может, выход блеснёт впереди?  
Уповаем. Горим. Ненавидим.  
Но когда остаёмся одни —  
только внутренний свет очевиден.

Она читала много, под конец спросила, не устали ли слушатели, и, услышав не слишком уверенное, но всё же отчетливое «да», улыбнулась и закончила чтение. Удивительно, но меня её стихи не утомляли, а очаровывали и словно затягивали в другое измерение. Интеллектуальные, раздумчивые, они, как мне кажется, скорее для чтения — наедине с собой и автором. Купив её маленький сборник, я подошла за автографом. Беглая улыбка, усталый взгляд. Надпись «...на добрую память о Переделкинском Доме

Булата». Такой я и запомнила её, интеллектуалку и полукровку, как она написала о себе, красивую, усталую, стоящую словно поодаль и всё же близко.

Городницкого принимали куда теплее, аплодировали много, подпевали его «Атлантам». Бардовская поэзия эмоциональней, ближе, понятней. Но вот другие его стихи.

Неторопливо истина простая  
В реке времён нащупывает брод:  
Родство по крови образует стаю,  
Родство по слову — создаёт народ.

Не для того ли, смертных поражая  
Непостижимой мудростью своей,  
Бог Моисею передал скрижали,  
Людей отъединяя от зверей?

А стае не нужны законы Бога, —  
Она живёт заветам вопреки.  
Здесь ценятся в сознании убогом  
Лишь цепкий нюх да острые клыки.

Своим происхождением, не скрою,  
Горжусь и я, родителей любя,  
Но если слово разойдётся с кровью,  
Я слово выбираю для себя.

А среди его песен есть одна, написанная, видимо, давно, когда ещё не возникла опасность исчезновения писательского Переделкина:

Позабудьте свои городские привычки, —  
В шуме улиц капель не слышна.  
Отложите дела — и скорей к электричке:  
В Переделкино входит весна.  
Там зелёные воды в канавах проснулись,  
Снег последний к оврагам приник.  
На фанерных дощечках названия улиц —  
Как заглавия давние книг.

Здесь, тропинкой бредя, задеваешь щекою  
Паутины беззвучную нить.  
И лежит Пастернак над закатным покоем,  
И весёлая церковь звонит.  
А в безлюдных садах и на улицах мглистых  
Молча жгут сторожа прошлогодние листья —  
Миновавшей весны корабли.

И на даче пустой, где не хочешь, а пей-ка, —  
Непонятные горькие сны,  
Заскрипит в темноте под ногами ступенька,  
И Светлов подмигнёт со стены.  
И поверить нельзя невозможности Бога  
В ранний час, когда верба красна.  
И на заячьих лапках, как в сердце — тревога,  
В Переделкино входит весна.

В этот вечер запомнились удивительные лица слушателей и дух неиссякающей молодости и уверенности в том, что есть и пребудет в России высокая духовная культура.

## МУЗЕЙ ПАСТЕРНАКА

*Леонид Почивалов*

Музей Пастернака, то есть его дача, ставшая музеем в 1990 году, вполне заслуженно считается первостепенным местом паломничества каждого уважающего себя литератора или просто любителя литературы. Дом очень гармоничен, он давно стал частью переделкинского пейзажа и живёт активной музейной жизнью. В нём сохранилась обстановка и атмосфера, в которой работал Борис Пастернак. Длинный зелёный забор, который ведёт к калитке, украшен цепочкой плакатов-цитат из стихотворений, и каждый экскурсант может по пути прочитать бессмертные строки.

Летом 2006 года в не приёмный, не экскурсионный день на дачу Пастернака меня привёл Леонид Викторович Почивалов, журналист и писатель-прозаик, лично знавший Бориса Леонидовича. Он познакомил меня с вдовой брата поэта, Натальей Анисимовной Пастернак.

Леонид Викторович в ту пору работал в фонде «Конгресс интеллигенции», который возглавляет Сергей Филатов, крупный политический деятель. Был он консультантом по международным делам, готовил Филатову серьёзные документы. История же предыдущей его жизни оказалась фантастически интересной. Он много ездил, побывал в десятках стран, полгода ходил на учебном судне «Витязь»

в Тихом океане. Был на Северном и Южном полюсе, где нашёл зимовку, до которой не дошёл Скотт. На зимовке обнаружил сундук с галетами, две из них привёз домой. Когда рассказал об этом Паустовскому, с которым был хорошо знаком, и показал ему находку, тот одну предложил передать в английское посольство, другую оставил себе. По просьбе Паустовского побывал в Бангкоке на могиле Веснянской — русской королевы Таиланда.

С Натальей Анисимовной они говорили о письмах Пастернака, которые семья отсудила у Ивинской, о том, что хорошо бы провести в музее филатовскую сессию, что на телевидении почти не слышно его стихов, а надо бы, а то такое засилье попсы... А ещё нужно чаще проводить здесь концерты классической музыки, ведь в музее стоит концертный рояль Нейгауза! Когда звучит классика, стены дома отзываются, вибрируют. А когда что-нибудь современное — молчат. Шла речь и о мемориальной доске в Лаврушинском переулке, Пастернак там долго жил.

Что осуществилось из всех этих замыслов, неизвестно. Уже в следующем сезоне Леонид Викторович в Переделкине не появился, его не стало.

На телеэкране можно увидеть талантливого красивого актёра, часто появляющегося в сериалах и фильмах — Егора Борова, внука Леонида Викторовича Почивалова.

## МУЗЕЙ ЧУКОВСКОГО

### *Гараж*

Есть в Переделкине ещё один уголок, где собирается писательская публика для клубных разговоров, чтения своих произведений и импровизированного чаепития. Это литературная гостиная «Гараж». Помещение — действительно бывший гараж во дворе музея Чуковского, довольно большой, оборудованный по мере сил для интеллектуального общения. Длинный стол, шкафы с книгами, картины и фотографии из жизни Корнея Ивановича и вообще из переделкинской жизни. Тесновато, шумно, но всегда интересно. Хозяйка — Алла Рахманина.

Алла Ефимовна Рахманина — журналист, вдова известного сценариста и поэта Бориса Рахманина, трагически погибшего в двухтысячном году. Дача Рахманиных, очень похожая на дачу Пастернака, и расположенная неподалёку, нередко принималась за пастернаковскую, да и имя хозяина — Борис Леонидович — звучало точно так же, как имя знаменитого соседа, поэтому и заходили сюда, на улицу Павленко, сначала по ошибке, а потом по велению души.

Есть у Аллы Ефимовны эссе «Аллея классиков», опубликованное в журнале «Южное сияние» в 2012 году, где она рассказывает о своих соседях по улице Павленко, и это поистине удивительные встречи, кажущиеся сейчас почти нереальными, и поистине звёздные имена. Борис Пастернак и Ольга

Ивинская, Лиля Брик, Всеволод Иванов, Александр Фадеев, Константин Федин и — ближе к нам — Андрей Вознесенский, Сергей Баруздин, Борис Можаяев, Владимир Солоухин...

И как продолжение писательских встреч — литературная гостиная «Гараж». Здесь были и именитые литераторы, и начинающие, и старшее поколение, и молодые. Здесь я впервые услышала Юлию Покровскую, Валерия Лебединского, Евгения Войскунского.

Частый гость в «Гараже» — Станислав Айдинян. Высокий красавец с копной тёмных волос, сияющими восточными глазами, златоуст и умница. Покоритель писательских сердец. И ко всему этому — искусствовед, художественный критик, поэт, прозаик, журналист. Будучи в течение десяти лет литературным секретарём Анастасии Ивановны Цветаевой, много писал о жизни и творчестве сестёр Цветаевых, известен как крупный цветаевед. Ещё он главный редактор литературного журнала «Южное сияние». Если ко всему этому добавить бархатный голос и обаятельные манеры... Обычно он комментирует выступающих — очень профессионально, но всегда мягко и точно.

Алла Ефимовна не только хозяйка этой маленькой литературной гостиной с большим прошлым, она ведёт летопись «Гаража». Летопись представлена пухлым гроссбухом, весьма потрёпанным, но чрезвычайно интересным. Там оставляют свои записи гости — и очень знаменитые, и не очень, там много стихотворных экспромтов, острот и пожеланий. Среди них Фазиль Искандер, Георгий Владимов, Юрий

Мамлеев, Ярослав Голованов, Юрий Щекочихин и многие ещё переделкинцы, искренне полюбившие эти литературные посиделки. Владимир Дагуров написал: «Машины нет моей уже, / А я уж снова в «Гараже»! / Моя душа стихов алкала — / и вот я вновь с тобою, Алла!».

Кроме того, каждое собрание в «Гараже» ещё и записывается на видео. Вместе получается такой биографический документ, свидетельство литературной жизни писательского городка, которое с годами приобретает всё большую ценность.

Есть там и несколько моих строк, возникших на мотив известного романа: «А напоследок я скажу — дай Бог здоровья «Гаражу!»

## Послесловие

Говорят, что чиновники Росимущества, получившие в нынешнем 2017-м году в собственность писательский городок Переделкино вместе с легендарным Домом творчества и находясь в некотором замешательстве по поводу его дальнейшей судьбы, обратились к президенту с извечным вопросом «Что делать?». На что якобы был получен совет: коли не знаете, что делать, отдайте обратно.

Ещё говорят, что ведущие писатели бросились на защиту своего гнезда, писали обращения и посылали ходяков, и вроде бы призрак суперсовременного отеля или дорогого коттеджного посёлка на месте обветшавшего писательского заповедника стал таять и появилась надежда, что Переделкино останется для писателей.

Птичий посвист строкой монотонной  
да листвы полутень-полусвет...  
В этом мире спокойно-зелёном  
можно жить до скончания лет.  
Можно думать, что в этой аллее,  
где витает великая тень,  
старый дуб обо мне пожалеет,  
а весной распахнётся сирень.  
Можно жить в безвоздушном пространстве,  
Растворясь в городской толкотне,  
Если знать, что есть сад Гефсиманский,  
Что он, может, вздохнёт обо мне.

*Сентябрь 2017 г.*

# Содержание

<b>От автора</b> .....	5	<b>Взгляд издали</b> .....	83
<b>Парк</b> .....	7	<i>Константин Ваншенкин</i> .....	85
<b>Старый корпус</b> .....	17	<i>Инна Лиснянская</i> .....	88
<b>Пристройка</b> .....	27	<i>Александр Ревич</i> .....	90
<b>Новый корпус</b> .....	35	<i>Вадим Рабинович</i> .....	92
<b>Встречи</b> .....	41	<i>Зиновий Вальшинок</i> .....	94
<i>Семён Сорин</i> .....	44	<i>Лариса Миллер</i> .....	100
<i>Василий Субботин</i> .....	48	<b>Музеи Переделкина</b> .....	103
<i>Дина Терещенко</i> .....	50	<b>Музей Булата Окуджавы</b>	
<i>Кирилл Ковальджи</i> .....	55	<i>Евгений Евтушенко</i> .....	107
<i>Наталья Арбузова</i> .....	57	<i>Александр Городницкий и Анна Наль</i>	127
<b>Переделкинцы сегодня</b> .....	59	<b>Музей Пастернака</b>	
<i>Валерий Михайлов</i> .....	61	<i>Леонид Почивалов</i> .....	132
<i>Сэда Вермишева</i> .....	66	<b>Музей Чуковского</b>	
<i>Эдуард Балашов</i> .....	71	<i>Гараж</i> .....	134
<i>Анна Гедымин</i> .....	73	<b>Послесловие</b> .....	137
<i>Дина Маркова</i> .....	75		
<i>Юлия Покровская</i> .....	77		
<i>Рада Полищук</i> .....	80		

*Литературно-художественное издание*

Людмила Николаевна Саницкая

**Остров Открытой книги  
(Перedelкино)**

Главный редактор издательства — *Евгений Степанов*  
Компьютерная верстка — *Ирина Ракитина*

Корректурa авторская

Бумага офсетная  
Гарнитура Times New Roman

Тираж ### экз.

Сдано в набор 03.10.2017

Подписано в печать ##.##.2017

Издательство «Вест-Консалтинг»  
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,  
д. 1/26, корп. 1, офис 34.  
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»  
Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
Комсомольский пр., 73.